

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://sologubfyodor.ru/> Приятного чтения!

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб

Посвящаю моей сестре.

Они были дети

Глава 1

I

Два гимназиста шли домой по аллее Летнего сада, который был гордостью дремотного уездного города Сарыни, и равнодушно посматривали на величавые дубы. Мальчикам не жаль было желтых листиков, которые начали падать на сыроватый после утреннего дождя песок. Они были заняты разговором, особенно один из них, лет семнадцати, в потертом мундире, порыжелой фуражке, тусклых и морщинистых сапогах. Руки его велики и грубоваты, угреватое лицо добродушно, а серые маленькие глаза смотрят иногда восторженно и умно. Имя его – Владимир Гарволин. Другой, Евгений Хмаров, – щеголь. Мундирчик на нем новенький, шит превосходно. Лицо и руки Хмарова белые, с нежной кожей. Он высок для своих шестнадцати лет, – выше Гарволина на полголовы, – строен и красив. Его лицо портит высокомерная усмешка, которая не идет к мягким очертаниям рта и подбородка.

Гарволин горячился. Его пылкий голос мало соответствовал непредставительной фигуре, походке перевальцем и банальному содержанию его слов.

– Связи, карьера – вот ты о чем мечтаешь. А все это – ужасная чепуха! – говорил он. – Миллионы людей обходятся без связей и не помышляют ни о какой карьере. А мы, черствые эгоисты, воспитанные на народные трудовые деньги, вместо того, чтоб помнить свой долг перед народом, думаем о том, как бы получше устроиться. Вздор! Люди живы одною любовью.

Хмаров шел немного впереди и насмешливо улыбался.

– Идеалист! – сказал он наконец. – Что мне за дело до народа? Он сильнее меня, и тебя, – и всех нас, – пусть сам о себе позаботится. Да и любовь – штука хорошая, что и говорить, – только ею сыт не будешь.

– Нет, будешь! – энергично воскликнул Гарволин.

– Пустое! – с раздражением продолжал Хмаров. – Любить можно по-настоящему только тогда, когда обеспечен.

– Да пойми, что любовь прочнее всего обеспечивает жизнь.

– Как бы не так. Вот я, например, люблю сигары. А без денег какие сигары.

– Экий ты циник! – с кротким негодованием воскликнул Гарволин, и смуглые щеки его покрылись румянцем.

– Ничего не циник. И женщины денег стоят. К ним, брат, без подарков лучше и не суйся.

– Ты клеветешь на женщин.

– Ну нет, брат, уж это-то я по опыту говорю, – хвастливо возразил Хмаров и молодцевато огляделся вокруг бойкими, серыми глазами, в которых было что-то блудливое.

«А в самом деле, – подумал он, – надо подарить что-нибудь шанечке. Дитя! ее и это еще позабавит».

– Вот только безденежье наше! – сказал он вслух, и по его лицу пробежала гримаска озабоченности.

– Вы богато живете, – заметил Гарволин. – Чай, здорово денег просаживаете.

– Что делать. Нельзя же нам жить как-нибудь. Ведь мы не какие-нибудь... мещане.

– Эх вы, барская спесь!

Хмаров надменно усмехнулся.

– Однако, прощай, – сказал он. – Мне тут подождать надо.

Гимназисты остановились на площадке сада. Гарволин вздохнул и угрюмо глянул в сторону.

– Шаньку Самсонову ждешь? – спросил он искусственным басом.

– А ты почему знаешь?

– Секрет-то не того... не велик.

– Да, брат, жду: просила здесь подождать, когда пойдет из гимназии.

– Что ж ты с ней, всерьез или так? – сумрачно спросил Гарволин.

– Шутить чужими чувствами – не в моих принципах, – внушительно ответил Хмаров.

– Ишь ты!

– Да вот видишь, почему я думаю о карьере: на моих руках не одна моя судьба. Не для себя самого я хочу сделать карьеру, а для любимой девушки.

– Девчонка еще она, да и ты, брат, зелен.

– За свои чувства я ручаюсь, – пылко ответил Хмаров, краснея, – а она, – она, брат, лучше всех женщин, какие когда-нибудь жили.

Голос его зазвенел юношеским восторгом, и холодные глаза тускло блеснули.

– Ну, давай вам Бог! – безнадежно сказал Гарволин.

Хмаров внимательно посмотрел на него и спросил насмешливо:

– Ты, что ж, тоже влюбился?

Гарволин махнул рукой, пожал руку Хмарова и торопливо пошел прочь.

«Бедняга! – подумал Хмаров – что делать, женщины ценят внешность, уважают самоуверенность, смелость».

Он смахнул со скамейки пыль тонким платком и сел. Лениво снял он фуражку и провел рукой по светлым, коротко стриженным волосам. Гарволин отошел несколько шагов, понурив голову и широко махая красными руками, внезапно он остановился, круто повернулся к Хмарову и крикнул:

– Я пойду к Степанову, не зайти ли за тобой?

– Ах, да, – встрепенулся Хмаров, – он все еще валяется?

– Не встает.

Хмаров подвигался на скамейке, уселся поудобнее, протянул ноги и сказал:

– Экий бедняга. Я бы пошел, да ведь ты знаешь, мои дамы такие мнительные.

– Махни по секрету! – посоветовал Гарволин.

– Неудобно, – кто-нибудь увидит, – они и от одной мнительности, пожалуй, захворают. Уж я лучше после.

– Как знаешь, – сказал Гарволин и повернулся было уходить.

– Послушай! – окликнул его Хмаров.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
– Ну? – диким голосом спросил Гарволин и наклонил к Хмарову правое ухо.

«Экий медведь», – подумал Хмаров и улыбнулся.

– Я хотел тебя спросить, не нуждается ли он в чем.

– Да уж в нас с тобой не нуждается, не беспокойся, – грубо отрезал Гарволин и пошагал дальше.

По тому, как он пошевеливал плечами и размахивал руками, видно было, что он сердится.

II

Хмаров прислонился к спинке скамейки и закрыл глаза. Черноглазая девочка представилась ему. – Смуглое личико с бойкой улыбкой и веселыми глазами... Он плотнее сжал глаза, всматривался и улыбался. Милые очертания смеялись, жили, сочные губы шевелились неслышными словами. А тепловатый ветерок веял, увядающие листья изредка падали с грустным, еле слышным шорохом.

Вдруг услышал он скрип песчинок, шелест юбочек и говор девочек. Гимназистки, – судя по голосам, их было пять или шесть, – прощались. Знакомый голос звенел задорно. Вот они разошлись, знакомые шаги направились к Хмарову.

– Шаня! – воскликнул он и открыл глаза. Перед ним стояла красивая девочка лет четырнадцати, рослая и крепкая. Несколько дикая веселость брызгала из каждой черточки смуглого лица, по которому беспрестанно пробегали смешные и милые гримаски. Загорелые щеки говорили об избытке здоровья. Большие черные глаза дерзко глядели из-под длинных ресниц. Полусросшиеся густые брови казались на первый взгляд слишком тяжелыми для веселого лица, но они соответствовали его твердым очертаниям. Шаня смеялась и хлопала руками.

– Какой ты милый, Женечка! – говорила она звенящим голосом. – Вот-то не ожидала тебя встретить.

– Ведь я сказал, Шанечка, что подожду: ты должна была верить, – сказал Хмаров с ласковым упреком.

– Ну, а я так и думала, что ты улепетнешь к своим дамам, а ты тут как тут.

Женя засмеялся, но сейчас же спохватился, нахмурился и строго сказал:

– У тебя, Шаня, прескверные манеры.

Шаня притихла, присела на скамью, сделала испуганные глаза и сказала слегка дрогнувшим голосом:

– У меня, Женя, прескверные дела, вот что лучше скажи.

– Да? – участливо спросил Женя и сел рядом с нею. – Провалилась-таки?

– Провалилась, – плачевно сказала Шаня и грустно опустила голову, хмуря брови.

– Как же ты так?

– Вот поди ж ты. Боюсь, что-то дома будет.

– Старик рассердится?

– Задаст он мне трепака, – печально сказала Шаня и вдруг засмеялась неудержимо и звонко.

– Ну да, трепака! – утешил Женя. – С чего так строго? Ах ты, легкомысленная головушка! Ты ленивая, если даже переэкзаменовки не могла выдержать.

– Вот еще новости – летом учиться! На то зима. И зимой-то зубрежка надоест.

– Ведь если так будет продолжаться, – усовещивал Женя тоном старшего, – то тебе и диплома не дадут.

– Не дадут, и не надо, – вот еще.

– Да, – согласился Женя, вздыхая, – вам, девочкам, диплом не важен. А вот нам приходится биться, – без диплома не пойдешь.

– Да я почти все сказала, – вдруг стала оправдываться Шаня – а он так и норовит сбить. Что ж, дивья ему, он больше меня знает. Злючка, противный козел.

Шаня раскраснелась, нахмурилась; ее бойкие глаза зажглись гневом.

– Да, – задумчиво говорил Женя, – эти господа слишком много берут на себя. В прошлом году наш латинист тоже повадился лепить мне двойки. А разве я виноват, что он не умеет преподавать? И дома у меня все удивляются, как такого болвана держат в гимназии.

– И у нас тоже все такие мумии, – недовольным тоном сказала Шаня, – совсем мало симпатичных личностей. Однако, пойдём, что тут сидеть.

Женя проворно вскочил, ловко взял ее книги и пошел по аллее рядом с Шаней. Шаня посматривала на него и любовалась его бодрой и красивой походкой.

– Зайдем в наш сад, Женечка, погуляем, – просительно сказала она.

– Право, Шанечка, – нерешительно начал Женя.

– Ну, хоть на полчаса! – нежно говорила Шаня и заглядывала в его лицо молящими глазами.

– Шанечка, мне домой пора.

– Боишься маменьки? – лукаво спросила Шаня, нагибаясь совсем близко к лицу Жени.

Женя обидчиво покраснел, а румяные Шанины губы дразнили его милой усмешечкой.

– Вовсе не боюсь, а будут беспокоиться.

– Ну, как хочешь, – грустно сказала Шаня и отвернулась.

– Ты, Шанечка, такая прелесть, что тебе ни в чем нельзя отказать, – нежно сказал Женя.

– Ну вот и спасибо, милый Женечка, – воскликнула Шаня, поворачиваясь к нему с радостной улыбкой, – а то некогда! Тюфяк!

Она хлопнула его по пальцам загорелую рукою и с мальчишескими ухватками запрыгала по дорожке.

– За тобой, Шанечка, я готов идти на край света, – только как бы тебе самой не влетело.

– Ну вот, очень я боюсь. Волка бояться – в лес не ходить.

– Видишь, Шанечка, как я тебя слушаюсь: мне бы надо было еще в одно место, а я с тобой иду.

– Какое место? – живо спросила Шаня.

– Да тут гимназист есть больной, из нашего класса. Степанов. Он – бедный. Положим, у меня самого в кармане сегодня не густо, но все-таки... может быть, он нуждается, – не могу же я не помочь!

– Какой ты добрый, Женечка!

Женя самодовольно улыбнулся, но постарался принять равнодушный вид и с медленной важностью промолвил:

– Ну, пожалуйста, – я не люблю комплиментов.

– Но, – робко сказала Шаня, – ведь к нему можно после.

– Это уж решено, Шанечка, – великодушно ответил Женя, – к нему вечером, теперь – к тебе. Я не умею тебе отказывать. Вообще я не люблю подчиняться чьим-нибудь капризам, но ты, Шанечка, другое дело.

– Я – другое дело! – крикнула Шаня, запрыгала и завертела Женю.

– Тихе, тихе, безумная, ведь здесь люди ходит, – унимал Женя, отбиваясь.

Шаня вытянула руки по швам и замаршировала по-военному.

– Ах, Шаня, когда ты отстанешь от этих манер.

Шаня повернулась к нему с покорной улыбкой.

– Ну, ну, не сердись, не буду. Никогда больше не буду. Евгений Модестович, – шаловливо шепнула она и нежно прижалась к Жене.

Женя быстро огляделся, – никого не видно, – охватил Шаню и неловко, по-детски, чмокнул ее в щеку. Глаза его засверкали. Шаня отодвинулась.

– Что за вольности! – стыдливо шепнула она, поправляя под шляпкой разбившуюся косу, и вдруг весело, но слишком нервно рассмеялась.

Им приходилось видеться крадучись: мать Хмарова считала неприличным для жени общества мещанской девочки, дочери не очень богатого купца; она приказала сыну прекратить это знакомство. Но необходимость скрывать встречи подстрекала детей, – было им жутко и весело.

III

Шагов за пять до деревянных ворот сада Шаня остановилась и потянула назад, за кусты, Женю.

Что ты? – спросил он.

– Твоя сестра! – шепнула Шаня.

Сквозь кусты виднелся через улицу забор небольшого сада, над забором – навес пристроенной к нему террасы, а под навесом стояла беленькая девочка лет тринадцати, с капризным и скучающим лицом и слегка вздернутым носом. Она пристально всматривалась в деревья Летнего сада.

– Как тут быть? – говорила Шаня, – с чего это она здесь торчит?

– Ревнует, – объяснил Женя.

Оба они заговорили шепотом.

– Ревнует? Что ты? – недоверчиво переспросила Шаня.

– Очень просто. Мы с ней были дружны; разница лет, конечно, сказывалась, но я все-таки любил ее позабавить. Ты знаешь, я иногда, когда в духе...

– О, да, ты остроумный и любезный.

Женя самодовольно улыбнулся.

– Но теперь ты понимаешь, я думаю только о тебе. Конечно, я иногда захожу к ней, но она мне, признаться, надоедает. Вот она и злится и высматривает. Она еще совершенный ребенок.

– Мы вот как сделаем, – решила Шаня.

Ее глаза засверкали и засмеялись, и она зашептала таинственно, с видом заговорщицы:

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
– Я пойду мимо вас. Она увидит, что я одна, и успокоится: она же увидит, что я прошла, а тебя еще нет. А ты беги кругом.

– Ты, Шанька, гений! – восторженно крикнул Женя.

– Ш-ш! зеворот! услышит! – унимала его Шаня, махая на него руками.

– Молчу, молчу, – зашептал Женя. – Ну, я бегу.

Мальчик юркнул в кусты. Шаня прислушалась, постояла, хмуря брови, пока не затих шорох ветвей за ним, и пошла из-за кустов через ворота на улицу.

IV

Маша поджидала ее на своей вышке.

– Послушайте, девочка! – надменно окликнула она Шаню.

Шаня подняла голову и весело засмеялась.

– А! – воскликнула она, – а я думала, это – целая барышня. Ну, слушаю, девочка, – что надо?

– Скажите, пожалуйста, – спросила Маша, обидчиво краснея, – куда пошел мой брат?

– Ваш брат? А кто такой ваш брат?

– Пожалуйста, не притворяйтесь. Вы с ним были сейчас в саду, а он скрылся.

– Ишь ты, глазастая какая! – запальчиво закричала Шаня, покачивая головой, – прыгала бы через забор да и бежала бы за своим братом, а мне как знать, где он.

– Экая мужичка! – уронила Маша, стараясь выразить большое презрение.

– Миликтриса Кирбитьевна! – ответила Шаня и сделала кислую гримасу.

– Как ты смеешь так со мною разговаривать, уличная девчонка! – крикнула Маша.

Шаня прыгала и кривлялась.

– А коли ты такая важная, так и не связывайся с уличной девчонкой! – кричала она. – Футы, ну-ты, ножки гнуты.

– Вот папа скажет твоему отцу, чтоб тебя высекли.

– Ну, ты еще и не посмеешь ничего своему отцу сказать, – тебе самой достанется: зачем на улице базарить! фря курносая!

– Вот погоди, дворник с метлой придет, – сказала Маша, стараясь принять равнодушно-презрительный тон.

– Ай, ай, как страшно! – крикнула Шаня, отбегая, – фискалишка презренная, – забралась на вышку шпионить.

У конца забора Шаня остановилась, сделала Маше нос и крикнула:

– Жди себе братца.

Маша отвернулась, досадливо покусывая тонкие губы. Шаня убежала было за угол, но вдруг вернулась.

– Пока ты собачилась, – крикнула она, – твой брат домой пришел.

В самом деле, кто-то прошел по двору, но кто, Маша не успела заметить: дверь на крыльце уже затворялась. Маша обрадовалась и побежала домой. Но это был только почтальон, а Женя еще не возвращался.

V

На перекрестке двух улиц, безнадежно пустынных и грязных, Женя и Шаня сошлись,
Страница 6

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
улыбаясь еще издали друг дружке, и остановились среди луж. Шаня передала мальчику разговор с Машей.

– Нажалуется, – пробормотал Женя, нахмурившись.

– Не посмеет.

– Ну да, не посмеет. Она про себя не скажет, не беспокойся, а наболтает, что видела нас вместе. Мать опять молебен отслужит.

– Молебен? – переспросила Шаня и звонко засмеялась.

– Это мы с отцом так называем, – начал объяснять Хмаров, и приунывшее было лицо его опять засияло горделивым сознанием своего остроумия. – Она, видишь ли, начнет сцену: нервы, и все такое. Будет пилить, пилить, точно все это нужно. Ну, отец и говорит: начала молебен петь.

– Молебен петь? – смеясь, повторяла Шаня.

– Пожалейте, говорит, мои бедные нервы, – с внезапной злостью заговорил Женя, – а сама всем нервы надрывает. И тут еще дядюшка, и тетушка.

Они пробирались по грязной улице. Женя терся новеньким мундирчиком о рогатые изгороди, сложенные из осиновых жердей, и шлепался модными сапожками в мутные лужи. Шаня выбирала сухие местечки по другой стороне улицы.

– Экая трущоба! – раздражительно сказал Женя, – точно не может твой отец мостков набросать.

– Иди сюда, – звала его Шаня, – там сапоги загваздаешь.

– Везде одинаково мерзко, – брюзгливо отвечал Женя.

Он видел отлично, что там, куда зовет его Шаня, гораздо лучше, – но продолжал идти по своему пути с тем упрямством, которое заменяло у него характер.

VI

На выезде из Сарыни стоял двухэтажный дом нелепой архитектуры с разбросанными вокруг хозяйственными постройками. Прежде это была помещичья усадьба, к которой принадлежала подгородная деревня Ручейки. Во время дворянского упадка усадьба досталась Самсонову. На ту улицу, где шли Женя и Шаня, выходил фруктовый сад, огороженный тыном, а дальше парк с прудами, протоками, мостиками, беседками, цепкими кустами давно не подстригаемых акаций. Дорожки заросли травой, но пруды были расчищены, – Шаня любила кататься на лодке. Были для нее и качели, была горка, которую зимой приспособляли для шанькиных салазков.

Шаня и Женя дошли до низенькой изгороди парка.

– До калитки далеко, – сказала Шаня, осторожно перебираясь через улицу, – перелезем: здесь невысоко.

– Полезем, – согласился Женя и повернулся к изгороди, выбирая место поудобнее.

Но едва он поставил ногу на перекладину, а другую занес поверх изгороди, как вдруг в парке послышался неистовый лай: два свирепых пса бросились на Женю. Женя вскрикнул и соскочил, – прямо в лужу. Брызги обдали его. Сделавши прыжка два по лужам, он остановился: ноги подкашивались. Сквозь лай еле слышал он крик Шани, унимавшей собак, и ее серебристый смех. Собаки угомонились, – Женя сообразил, что опасность миновала. Он взглянул на свою забрызганную одежду: на колене зияла длинная прореха, – должно быть, зацепился, соскакивая с изгороди. Сердито хмурясь, он полез в парк, где уже поджидала его Шаня.

– Глупая привычка – вечно скалить зубы, – сделал он выговор Шане.

Шаня перестала смеяться.

– Боже мой! – воскликнула она, – ты весь перепачкался. Новый мундир, – а его так залюхал. И разорвал.

Она бросилась было обтирать его мундирчик рукавами своей кофточки, но Женя хмуро отстранил ее.

– Ну, большая беда! – проворчал он сердито, – ведь я не Гарволин, у меня не одна перемена.

– Это все я виновата, – мне бы надо было вперед пойти. Экая я дура!

– Оставь ты, пожалуйста, мужицкую манеру бранить себя! – крикнул Женя.

Шаня с удивлением посмотрела на него.

– Чего ты? Ведь я не тебя!

– Гораздо естественнее других ругать, чем себя.

– Ты испугался, женечка?

– Вовсе не испугался, – я вздрогнул от неожиданности. У меня нервы не из канатов. Твои собаки дождутся, что я их задушу руками.

– Ну, да, задушишь, – а сам убежал.

– Да ведь они могли быть бешеными. Глупо драться с собаками, их на дуэль не вызовешь.

Шаня захохотала и долго потешалась, представляя, как Женя стреляется с Барбосом. Женя натянуто улыбался. Шаня повела его к яблоням, во фруктовый сад.

– Вот у вас свои яблоки, а мы должны покупать, – сказал он Шане притворно-беспечным голосом.

Но он чувствовал, что голос его вздрагивает, и это было ему досадно.

– А у вас варят варенье? – спросила Шаня.

– Ну кто же в городе варит варенье! – пренебрежительно сказал Женя. – Это в деревне еще ничего, – да и то, в сущности это мещанство.

– А вот моя мама варит.

– Ну, у вас совсем другие нравы, – объяснил Женя.

– Ну, конечно, – согласилась Шаня, – мы не по-вашему живем, – мы попросту, без затей.

Женя никак не мог отделаться от подозрения, что Шанька смеется над ним. Подсолнечники огорода, который был разведен Самсоновым за фруктовым садом, глупо пялились на него и говорили, казалось:

– Сплоховал, брат.

– Знаешь, – начал он объяснять, – я потому вздрогнул, что у меня нервы расстроены.

– Чем расстроены? – спросила Шаня.

– Ах, Шанечка, как ты не понимаешь! Я не девочка. Мне надо подумать о будущем, – в моих руках лежит и твоя судьба.

– Думают-то только, знаешь, кто? – спросила Шаня со смехом. – Индейские петухи да дураки.

Женя нахохлился.

– Все у тебя глупые шутки. Что ж, я – дурак, по-твоему?

– Ах, Господи, уж и рассердился! – воскликнула Шаня, кокетливо повертываясь к нему. – И вовсе не нервы, а просто ты барчук изнеженный. Вот у тебя какая кожица тонкая. А вот я, – я – толстокожая, у меня нет нервов.

– Ты думаешь, это хорошо? – спросил Женя. – Современный человек должен иметь тонкую нервную организацию.

– Так ведь откуда ее взять? – смиренно возразила Шаня. – На это надо уж так и родиться в дворянской семье.

– Да, конечно. Но тоже и дворяне, – бывают такие слоны!

VII

Дети уселись под яблоней и ели яблоки. Узкая серенькая скамейка, длинная, на двух тумбочках, гнула и поскрипывала под ними.

– Что я тебе расскажу, Женечка, – заговорила вдруг Шаня. – У нас рядом девушка повесилась.

Шаня сделала паузу и посмотрела на Женю широко раскрытыми глазами.

– С чего? – спросил Женя, жуя сочную мякоть антоновки.

– У нее был... дружок.

– Ага!

– Писарь полковой. Ну и обещал жениться, а сам женился на другой, а она от него уж...

– Понимаю, – сказал Женя. – Это всегда так бывает.

– Ну вот вчера мать к ней и пристала, стала бить ее, чтоб она созналась, – она и созналась, а мать ее розгами наказала.

– Дикие нравы! – пренебрежительно сказал Женя.

– А девушка ночью взяла да и повесилась в сарае.

– Ну, и что же?

– Ну, утром нашли ее, а только уж она вся мертвая, синяя такая, – так и умерла.

– Ну и дура! – решительно сказал Женя.

– Чем это дура? – обидчиво спросила Шаня.

– Чем дура? А вот чем: раз, что не надо было связываться с писарьком, – она должна была знать, что у этого народа не может быть благородных чувств.

– Только у вас, дворян, благородные чувства!

– Конечно. А второе: все же не к чему убивать себя.

– У тебя не спросилась, жаль.

– Вот и вышла дура. Что она этим выиграла?

– Что? – с недоумением переспросила Шаня.

– Да, что выиграла? Вот то-то, она должна была бороться за себя. А не могла, значит, она слабая натура, значит, туда ей и дорога.

– Ах, Женя, как ты говоришь. Теперь уж не нам судить ее.

– Все это вздор. Это уж теперь доказано, что жизнь – борьба за существование. Он воспользовался ее любовью, хорошо, – а она о чем думала? Ведь это с ее согласия было. Стало быть, он и прав. Кто умеет добиться своего, тот и прав, а ротозею не

книга разлук. книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
к чему и жить. Таков закон.

– Ну, закон. Кто его написал?

– Закон природы, открытый Дарвином. Он доказал, что мы все от обезьян
происходим. Которые обезьяны были поумнее, те сделались мало-помалу людьми, а
остальные так скотами и остались. То же и у людей: каждый заботится сам о себе,
а кто не умеет, того затолкают. Выживают только субъекты, приспособленные к
жизни, – слабые и себе и людям в тягость.

Шаня посидела минутку молча и задумчиво, потом засмеялась, соскочила со
скамейки, подпрыгнула, ухватилась за толстый сук яблони и подтянулась на руках.
У нее были сильные руки, да и вся она была сильная и ловкая, – ей никакого
Дарвина не страшно. Радость охватила ее и заставила звонко взвизгнуть. Ну, а
Женя, конечно, нахмурился.

– Что за манеры! – проворчал он. – Ты ведешь себя как мальчишка.

– Тебе, небось, завидно, – сказала Шаня, продолжая смеяться и прыгать.

– Что за слово «небось»!

– Чем же не слово?

– Вообще у тебя хватки грубые и слова мещанские. Можно бы вести себя
поприличнее.

Шаня обиделась и угомонилась.

– Мои слова не нравятся, так нечего со мной и говорить. Известно, я
невоспитанная, ну так иди к барышням.

Шанины губы дрогнули и на глазах заблестели слезинки. Женя почувствовал
раскаяние.

– Шанечка, дорогая, – закричал он, бросаясь к ней, – не сердись: я – грубый, а
ты – божественная, добрая.

VIII

Шаня и Женя забрались в самый дальний угол сада. Из-за изгороди видны были поля
и вдали лес. Шаня прислонилась грудью к невысокому забору, счастливо вздохнула и
тихонько промолвила:

– Как красиво!

Женя принял усиленно равнодушный вид.

– Ну, – сказал он, – это веселит тебя потому, что ты еще мало что видела. Вот
если бы ты побывала за границей, – так там есть местечки, в Швейцарии, например,
на Рейне. Я во всех этих местах был, и в Италии, и во Франции, словом, везде.

– А в Америке был? – спросила Шаня.

– Нет, еще не был.

– Ну, значит, не везде был.

– Ну, кто же ездит в Америку! А ты была в Москве?

– Нет, меня никуда не возили, – я только в Рубани была, а дальше и не бывала.

– Что Рубань! Только слава, что губернский город, – городишка самый захолустный.
Ты, значит, ничего хорошего не видела.

Шаня завистливо вздохнула.

– Когда я буду большая, – сказала она, – я везде, везде выезжу, – во всех
городах побываю.

- Во всех городах нельзя побывать, - важно сказал Женя, - их очень много.
- Что ж, что много! А вы отчего нынче никуда не уехали?
- Ну, мы порастрясли денежки, - досадливо сказал Женя, - мой папа умеет это делать. А за граница кусается. Вот здесь и киснули все лето.
- И ты жалеешь? - кокетливо спросила Шаня.
- Зато я с тобой, Шанечка, познакомился.
- Но ведь это не так интересно, как за граница!
- Милая Шанечка, ведь ты знаешь, что я тебя люблю.
- Ты сам-то давно ли это знаешь?
- Да ведь мы еще недавно знакомы, Шанечка.
- А ведь признайся, ты бы так и не догадался, что ты меня любишь, если б я сама тебя не навела на эту мысль?
- Ну, да, вот еще!
- Нет, признайся, ведь так?
- Конечно, - важно сказал Женя, - вы, женщины, больше нас понимаете в делах любви, - это ваша специальность.

Глава 2

I

Сегодня Самсоновы обедали позже обыкновенного: Шанин отец только что вернулся из своей поездки в уезд. Он был не в духе. Шанька боязливо посматривала на него и старалась за обедом не обратить на себя его внимания. Но суровая фигура отца притягивала к себе Шанины взоры.

Полувосточный склад лица обличает в нем не чисто русскую кровь. Черные, густые и невьющиеся волосы начинают седеть. Черные глаза с желтыми белками мрачно блестят. Невысокий и узкий лоб, изборожденный глубокими прямыми морщинами, сжат у висков. Загорелое лицо имеет красновато-желтый оттенок. Плотный стан слегка сутуловат. От лица Шаня переводит глаза на мать: это - черноволосая и черноглазая женщина южнорусского типа, лет тридцати, еще совсем молодая на вид и красивая, - Шаня похожа больше на мать, чем на отца.

Марья Николаевна предчувствовала, что Шане достанется от отца, и была недовольна: хоть она и сама иногда колотит Шаньку, но не любит, чтоб отец это делал. А отец угрюмо молчал... Наконец он пристально посмотрел на Шаню. Она зарделась под его взорами. Отец угрюмо спросил:

- Ну, что, перевели?
- Оставили, - робко ответила Шаня.
- Хорошее дело! Что ж, у меня шальные деньги за тебя платить? Вот как возьму веник...
- Вы только и знаете, - шепнула Шаня, ярко краснея.

Она знала, что отец может исколотить ее до полусмерти, - но в ней сидит злобный дьяволенок, который подсказывает ей дерзкие ответы. Ей страшно, - но дерзкие слова словно сами срываются с языка.

- Молчи, пока... - внушительно и грозно говорит отец.

А мать смотрит на нее с упреком и делает ей, незаметно для отца, знаки, чтобы она молчала. Но Шаня не унимается и ворчит:

- Никто так не обращается... Я – большая.
- А вот поговори у меня. Зачем сапоги в глине?
- Не успела снять, – сейчас только пришла.
- А где была до этих пор?
- Известно, где, – в гимназии. Где ж мне быть!
- Врешь, негодная! – крикнул отец. – Говори сейчас, где шлялась!
- Что ж, дома все сидеть, что ли! Уж и по улице нельзя пройти, и в саду нельзя погулять.
- Погруби еще! – грозил отец, и суровое лицо его бледнело.
- Чего мне грубить, – я дело говорю.
- Ну, чего отцу огрызаешься! – вступилась мать.
- Вовсе я не огрызаюсь. И вы еще на меня нападаете, чтой-то такое!
- Вот огрызок-то анафемский! – негодовала мать. – Ты ей слово, она тебе десять.
- Знаю, матушка, – заговорил отец, – ты все еще с мальчишкой Хмаровым хороводишься. Не пара он тебе. Форсу у них только много, а сами гольтепа такая... Вот они у меня в лавке товару набрали на столько, чего и все-то они сами не стоят, а платить не платят.
- Не украдут ваших денег! – запальчиво крикнула Шанька.
- Зачем красть! – с презрительной усмешкой возразил отец, – не отдадут – и вся недолга. Вот слышно, переведут их отсюда, – уедет из Сарыни, а там судись с ними.
- Вы обо всех по себе судите, так и думаете, что все обманывают.
- Что такое? – закричал отец, багровея. – Ах ты, мразь ты этакая, кому ты говоришь! Да я тебе голову оторву. Пошла вон из-за стола!
- Чтой-то, и поесть не дадут, – захныкала Шаня.
- Вот я тебя накормлю ужо березовой кашей. Вон, вон пошла!
- Да дай ты ребенку поесть, – сказала Марья Николаевна. – Успеешь еще накуражиться.
- Вон! – бешено закричал отец и стукнул кулаком по столу.

Посуда задребезжала. Шаня выскочила из-за стола побледневшая и испуганная, уронила стул, метнулась было к матери, но, увидев, что отец тяжело подымается со стула, тихонько взвизгнула и бросилась к двери.

- Куда? – остановил ее отец свирепым криком. – В угол! На колени!

Шаня, дрожа, повиновалась. С расширенными от испуга глазами сунулась она в угол, неловко выдвинула из угла тяжелый стул, быстро опустила на колени и уткнулась в угол побледневшим лицом. Отец опять сел.

«Изобьет! Нет, авось, не будет бить!» – боязливо соображала Шаня и чутко прислушивалась к тому, что делалось за ее спиной, – а сердце ее до боли сильно стучало в груди. Отец и мать молча кончали обед. Шаня чувствовала на своей спине сочувственные взгляды служанки, приносившей и уносившей кушанье, – и ей было стыдно стоять здесь и ждать, – чего? прощенья? расправы? Чем ближе подходил обед к концу, как слышала это Шаня по стуку ножей и посуды, тем боязливее и трепетнее замирало ее сердце. Ей вдруг вспомнилось, как мать перед обедом, когда они ждали отца, сказала ей: «Иссечет он тебя, как кошку за сметану». Эти слова настойчиво

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
повторялись в ее мыслях. Нетерпеливый, расслабляющий страх пробежал холодной дрожью по всему ее телу.

Обед кончался. Отец молча подошел к Шане, тяжело ступая по паркету грубыми сапогами, и ухватил Шаню за ее толстую, круто сплетенную косу. Шаня отчаянно взвизгнула, откинулась назад, подняла было руки к голове и забилась беспомощно у ног отца, который тащил ее по полу.

– Да что ты, Степан Петрович! – закричала мать, бросаясь к мужу и отымая от него девочку, – побойся Бога, что ты делаешь с девочкой!

– Прочь! – бешено крикнул Самсонов, отталкивая жену.

Сильная и цепкая, она не поддавалась. Толкаясь и осыпая друг друга ударами, возились они над Шаней, которая ползала по полу на коленях: коса ее была в руке отца, и она подавалась головой туда, куда тянул отец. Наконец, почувствовав, что отец держит ее слабее, она схватилась обеими руками за его руку, в которой была зажата ее коса. Он сильно тряхнул рукой, выпустив Шанины волосы, – Шаня отлетела по полу в сторону, ударилась об стул, быстро вскочила и убежала к себе. За нею неслись неистовые крики отца и матери. Марья Николаевна, обозлясь за Шаню на мужа, страстными криками изливала все, что накопело в ней злобы против него.

– Плут всесветный! – яростно кричала она, наступая на мужа, – людей обманываешь, рабочих обсчитываешь, – коршун! Разразит тебя Господь за твои темные дела, – попомни мое слово.

Самсонов сердито отмахнулся от нее и отошел к другому концу комнаты.

– Мели, мельница! – злобно сказал он, стараясь сдержать гневную дрожь голоса. – Какие такие темные дела?

– Много за тобой грехов! – кричала Марья Николаевна, опять приступая к нему. – Завел полюбовницу, ослезил меня, – греха не боишься, и стыда в тебе нет, – дочь-то ведь у тебя не маленькая, хоть бы пред ней постеснялся, греховодник старый!

– Тьфу, дура поганая! Говорить с тобой – только черта тешить.

Он ушел в свой кабинет, яростно захлопнул дверь и заперся на ключ. Марья Николаевна продолжала кричать у его двери еще долго, – он не отвечал.

II

Шаня робко притаилась в уголке за своей кроватью и уселась, вся скорчившись, на тот старый и расшатанный стул, на который всегда усаживалась она, когда чувствовала себя обиженной.

Косые лучи вечернего солнца неподвижно и печально озаряли знакомые, милые для Шани предметы ее тихого убежища. Издали доносились до нее бешеные отголоски ругани, но Шаня не прислушивалась к ним, не хотела прислушиваться. Ей было еще обидно, но слез уже не было на испуганно и гневно горевших глазах. Мечты зачинались в ее голове, ласковые и грустные. И чем больше вслушивалась она в них, тем дальше и глуше казались ей отголоски свирепой брани. Обиженным сердцем понемногу овладевало кроткое, ласковое настроение. Мечта кружилась около одного дорогого образа.

Красивый мальчик с гордой улыбкой, самоуверенный, умный, благородный. Ему доступны вершины почестей, – он дворянин, он отважен. Она перед ним такая ничтожная и глупенькая. И он любит ее.

Ах, если б у нее вдруг сделалось прозрачное эфирное тело! Сбросила б тесное платье, полетала бы к милому, легкая, воздушная. Не задержали бы ни высокие заборы, ни крепкие запоры. Сквозь стены проникла бы, как влажное дыхание, отклоняющее пламя пристенной свечи. Прилетела бы голубою тенью, никем не видимая, прильнула бы к нему, – нагие руки ему на плечи, нежные губы к его губам, – тихонько шепнула б ему: «здесь я, милый мой!» – и тайными поцелуями опьянила бы, очаровала бы его...

Скрипнула дверь, разбились мечты, вошла старуха нянька, вынянчившая еще Шанину

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
мать. Теперь, хоть Шанька и подросла, а нянька все жила, уже четвертый десяток лет, при Марье Николаевне: она была «свой человек» в доме, хозяева ей доверяли, и она зорко охраняла хозяйское добро.

– Притулилась, ясочка ненаглядная, – нежным шепотом заговорила нянька, глядя Шаню по голове.

Шаня почувствовала боль в корнях волос, память отцовской таски, нетерпеливо тряхнула головой и опустила ее на деревянное изголовье. Ей стало досадно, зачем помешали мечтать, и она не хотела повернуть к няне недовольного лица. А нянька стояла над Шанькой, глядела на нее добрыми старушечьими глазами и утешала ее простыми и глупыми словечками. В странном беспорядке теснились в Шанином слухе и голуби, и генералы, и светики ненаглядные, – какая-то ласковая чепуха, – и Шаня поддавалась ее льстивому обаянию.

– Скажи, няня, сказку, – молвила она, глянув на няньку одним глазом.

Няня присела рядом с Шаней и заговорила сказку про какого-то вольного казака. Шаня не вслушивалась и мечтала себе о своем. Вдруг няня замолчала. Шаня открыла глаза и приподняла голову. Мать стояла перед нею.

– Мой-то сокол, улетел! – сказала она няне.

Няня завздохала и заохала.

– К сударушке своей! – злобно сказала Марья Николаевна. – Ну, а ты, Шанька, что сиротой сидишь? Подь к матери, – хоть я тебя приласкаю.

Марья Николаевна села на Шанину кровать и притянула к себе дочку. Шаня прильнула щекой к ее груди, – мать посадила ее к себе на колени.

– Ох, горюшко мне с тобой, – говорила она, поглаживая и похлопывая дочь по спине. – Все-то ты отцу досаждаешь. Вот сапоги-то все не переменяла, так в глине и щеголяешь.

Шаня соскочила с колен матери, села на пол и принялась стаскивать ботинки.

– Надень туфли, – сказала мать.

– Я лучше так, мамуня, – тихонько ответила Шаня, сняла чулки и опять забралась на колени к матери.

– И с ним-то горе, – говорила меж тем Марья Николаевна няне. – Я ли его, злодея моего, не любила, не лелеяла! А он, на-ткось, завел себе мамоху, старый черт!

– И на что позарился, – подхватила няня, – сменял тебя, мою кралечку, на экое чучело огородное.

– Что уж он в ней, в змее, нашел, – досадливо говорила Марья Николаевна, – только что молодая, да жирная, что твоя корова. Так ведь и я не старуха, слава Тебе, Господи.

– И, касатка! – убедительно сказала няня, – недаром говорится: полюбится сатана пуще ясного сокола.

– Она – белая, – вдруг сказала Шаня, приподнимая голову.

– Ах ты! – прикрикнула мать, – с тобой ли это говорят! Не слушай, чего не надо, не слушай!

И мать сильно нашлепала Шаньку по спине, но Шанька не обиделась, а только плотнее прижалась к матери.

– И я-то дура! – сказала Марья Николаевна, – говорю при девке о такой срамоте.

– Ох, грехи наши! – вздохнула няня.

– Что, Шанька, оттащал тебя отец? И за дело, милая, – не балахрысничай.

– Чего ж заступалась? – шепнула Шаня.

– Так, что уж только жалко. И что из тебя выйдет, Шанька, уж и не знаю, – вольная ты такая. Только мне с тобой и радости было, пока ты маленькая была.

– Я, мамушка, опять маленькая, – еще тише шепнула Шаня и закрыла глаза.

Марья Николаевна вздохнула, прижала к себе дочку и, слегка покачивая ее на коленях, запела тихую колыбельную песенку.

Ходит бай по стене, –

Ох-ти мне, ох-ти мне.

Что мне с дочкою начать, –

Бросить на пол иль качать?

Уж я доченьку мою

Баю старому даю.

Баю-баюшки-баю.

Баю Шанечку мою.

Шане было грустно и весело, – душа ее трепетала от жалости к матери...

Вечерело. Вокруг дома пусто и глухо. Только изредка слышна трещотка городского сторожа: это – двенадцатилетний мальчик, которого послал за себя ленивый отец: слышен изредка протяжный крик мальчугана. Доносится лай собак, их злобное ворчанье и глухое звяканье их цепей. В самом доме – неопределенные шорохи старого жилья. Строго смотрят иконы в тяжелых ризах, в больших киотах. Угрюма неуклюжая мебель, в строгом порядке расставленная у стен. В холодном паркете тускло отражаются затянутые тафтой люстры. Скучно и хмуро. От лампад, готовых затеплиться, струится елейный и смиренный запах. Марья Николаевна опять жалуется няньке, а Шанька опять слушает, тихонько сидя в уголке, и молчит.

Хоть и не бедны Самсоновы, а все-таки жизнь в их доме имеет определенный мещанский уклад: просты отношения между обитателями дома и наивно-откровенны; прост сытный обед и плотный ужин; просты наивно-плоские беседы и бесцеремонны домашние одежды.

В такой-то обстановке вырастает Шанька, шалунья и своевольница, которую то балуют, то жестоко наказывают. Родители словно дерутся девочкой: когда отец бьет Шаньку, мать ее ласкает; когда отец ласкает дочку, мать к ней придирается и сечет ее иногда за такие пустяки, на которые в другое время никто и внимания не обратил бы. Но Шаня изловчается и часто успевает-таки ладить и с отцом и с матерью. И теперь в ее предприимчивой голове, сквозь жалость и сочувствие к матери, уже выясняется план, – как бы и с отцом помириться.

Шаня – девочка быстрых и бойких настроений, счастливая, как радость, одним тем, что живет. Не может она долго печалиться хоть бы и после того, как ее побили.

III

Поздно вечером, часов в одиннадцать, Самсонов вернулся домой. Шаня уже лежала в постели, но не спала. Окна ее комнаты были плотно занавешены, двери крепко заперты, и под дверями лежал скатанный половичок, чтобы не просвечивало наружу от свечки, которая горела около кровати. Шаня читала книжку, одну из тех, которые она тайком приносила домой и по ночам читала. Это были романы. Ими снабжали ее или Женя, или, чаще, Шанина подруга по гимназии, Дунечка Таурова.

Шаня услышала неясный шум открывающихся дверей и тяжелой отцовой поступи. Она мгновенно задумала смелое дело, – идти к отцу просить прощения. Тут был риск: или отколотит еще раз, может быть, выстегают, или приласкает, – и тогда она обеспечена от будущих неприятностей за то, что осталась на второй год в классе. Шаня загадала, – идти или не идти: она будет считать до ста, и если в это время нигде ничего не услышит, то не пойдет, а если услышит, то пойдет. Она начала счет. Ей стало жутко, и она ускоряла счет, чтоб поскорее кончить, до первого шума. Она считала уже шестой десяток, как вдруг где-то далеко в городе раздался невнятный, глухой крик. Шаня вздрогнула, с разбега просчитала еще несколько и остановилась. Делать нечего, надо идти.

Она проворно вскочила с постели, набросила на себя платье, спрятала книгу, потушила свечу и тихохонько вышла босая в коридор. Придерживая рукой дверь своей

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
комнаты, она остановилась и слушала, – везде в доме было тихо. Тихо-тихо ступая, пошла она по неосвещенному коридору, по темным комнатам. Вот и дверь отцова кабинета. Внизу ее светится щель – значит, отец еще сидит. Шаня прижалась ухом к двери. Ее сердце шибко колотилось. Неясный шелест еле слышался ей за дверью..

Внезапно решившись, она стремительно открыла дверь, быстро подбежала к отцу и охватила руками его шею. Самсонов сидел у письменного стола и просматривал счета. На нем был надет засаленный халат, старый, много раз заплатанный, из которого в некоторых местах лезла вата.

– Ты чего, оглашенная? – закричал Самсонов на дочку, – чего тебя носит?

Шанька прижалась к нему и уселась на его колени.

– Да ты чего вольничаешь? Аль забыла..

– Прости, папочка милый, не буду лениться, – вкрадчиво заговорила Шанька, ласкаясь к отцу и целуя его жесткую щеку.

– То-то не буду. Разве у меня шальные деньги?

– Ты – богатый.

– Ну, ну, не так богатый. Положим, грех роптать. А дело-то всяко бывает: вот маюсь, пока мышь голову не отъела, а завтра что еще будет. Посечь бы тебя надо, Шанька, – бормотал он, ласково поглядывая на красивое лицо девочки.

Он прижал к себе дочку, покачивая ее на коленях и подбрасывая кверху ее ноги. Шанька тихонько смеялась.

– Отлощить бы тебя хорошенько. Слышишь, Шанька, а? Хочешь, задам баню?

– Другой раз, голубчик папочка, – отвечала Шаня, вытаскивая кусочки ваты из отцова халата.

– То-то другой раз, смотри ты у меня, разбойница. Еще как надо было бы.

Глава 3

I

Женя, подходя к дому, озабоченно осмотрел испачканную, изорванную одежду. Стало досадно.

«Она не может и представить себе, легкомысленная Шанька, – думал он, – как это у нас неудобно и неприятно. Увидят – и сейчас начнутся жалостные разговоры. Надо постараться проскользнуть незаметно».

Разговоры, на которые мог бы навести этот беспорядок одежды, особенно неприятны были теперь Жене потому, что у них гостили приехавшие из Крутогорска Женин дядя Аполлинарий Григорьевич Хмаров с женой. Дядю своего Женя считал за человека очень умного и насмешливого и побаивался его языка.

Проскользнуть незаметно не удалось. В передней случайно его встретила мать, Варвара Кирилловна, высокая и худощавая дама с величественным видом и длинным носом. Она заметила и грязь, и прореху и пришла, по обыкновению, в ужас.

– Женя! Боже мой! – воскликнула она. – Но в каком ты виде! Посмотрите, ради Бога, на кого он похож!

С этими словами она повела его в гостиную, где собралась вся семья. Женя имел сконфуженный вид: он не привык видеть себя в таком беспорядке, – а при дамах и тем менее. Сестрица Маня смеялась, а отец окинул его удивленными глазами и сделал самую ледяную из своих улыбок, которая так шла к его видной и внушительной наружности.

– Хорош! – сказал дядя, высокий господин с длинными седыми усами, бритым подбородком и лукавым выражением лица.

А дядина жена, Софья Яковлевна, полная дама с блестящими глазами и

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
нервно-быстрыми движениями, оглядывала его с выражением брезгливости и ужаса и восклицала:

- Испачкан, изорван! Но его поколотили уличные мальчишки.
- Где это ты? – спрашивала мать.
- Не лучше ли ему сначала переодеться? – обратился к ней Модест Григорьевич.

Женя взглянул на отца с благодарностью и поспешил уйти. За ним звенел Манин смех.

«Один только отец умеет вести себя, – думал Женя, переодеваясь. – Только в нем есть эта холодная корректность, которая отличает...»

II

Варвара Кирилловна не намерена была забыть про это неприличное происшествие. За обедом она опять спросила Женю:

- Скажи, пожалуйста, где ты так перепачкался. И где ты изволил прогуливаться?

Женя успел сочинить подходящее объяснение и небрежно ответил:

- Я был у этого... Степанова. Потому и поздно.
- Это что за Степанов?
- Но я вам вчера говорил, – это наш гимназист больной.

Варвара Кирилловна встревожилась.

- Чем больной? – с обидою и страхом в голосе спрашивала она. – И когда ты рассказывал? Я ничего не помню.
- Ты еще нас всех заразишь! – воскликнула Софья Яковлевна, брезгливо поводя своими пышными плечами.
- Ах, мама, я не пошел бы, если б это было прилипчиво. Надо ж навестить: они бедные, может быть, я мог бы немножко помочь.
- Какая филантропия, скажите пожалуйста! – насмешливо говорила Софья Яковлевна.
- А кто тебя там прибил?
- Никто не бил. Но, знаете, в этих захолустьях такая грязь, что надо привычку там ходить. Мостки поломанные, – и ногу чуть не сломал.
- Потому, должно быть, тебя и провожала эта девчонка! – вмешалась Маня.
- Какая девчонка, Женечка? – спросил дядя, улыбаясь и слегка прищуривая веселые и лукавые глаза.

Женя покраснел.

- Не знаю, о чем она говорит, – сказал он, пожимая плечами, – я один ходил.
- А краснеешь зачем? – спрашивал дядя.
- Нет, не один, – горячо возражала Маня. – Черномазая девочка, гимназистка. Ты в кусты спрятался, а она мимо нашего дома прошла.
- Вот и неправда, – уверенно сказал Женя, – ничего такого не было.
- Да ведь я видела, как вы с ней шли в Летнем саду.
- Это, должно быть, опять та же Самсонова, – недовольным тоном сказал отец.
- Опять, Боже мой! – патетически воскликнула мать.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

– Но я с ней только случайно встретился в саду! – невинным тоном объяснял Женя, – и не мог же я убежать от нее!

– Какие скороспелые нежности! – воскликнула Софья Яковлевна, сверкая глазами и покрываясь румянцем негодования.

– Мы только немного прошли вместе и расстались. И я вовсе не думал прятаться. Я даже не сразу вспомнил. Что ж тут такого?

– Ах, это все та же мещаночка! – вспомнил и дядя. – Bravo, Женечка, у тебя появляется постоянство во вкусах: не на шутку влюбился в свою сандрильону.

– Что ж, что мещанка? – возразил Женя. – У нее приданое есть.

– Много ли? – насмешливо спросила мать.

– Тридцать тысяч! – с весом сказал Женя.

Мать пренебрежительно пожала плечами.

– Ну, все же деньга... если только отец даст, – вступился дядя, лукаво усмехаясь.

– Не рано ли думать? – спросил отец.

– Это у нее собственные, – сказал Женя, отвечая дяде.

– Да? – с некоторым вниманием спросила мать.

– Я все это у нее разузнал...

– Вот как! практично! – насмешливо сказал отец.

– Да что это такое! – засмеялась Софья Яковлевна, – разузнал!

– Дело в том, – объяснял Женя, – что эти деньги завещал ей дядя, ее крестный отец, и они хранятся в Крутогорске в конторе у другого дяди, Жглова.

– Непрочное помещение! – заметил дядя с тою же лукавой усмешкой.

– Вообще, – решила Варвара Кирилловна, – тебе, Женя, о таких вещах рано еще думать.

– Конечно, – подтвердил отец.

– Решительно прошу, – продолжала Варвара Кирилловна, – туда не ходить. Раз навсегда. Я не могу этого выносить, – пожалей мои нервы.

Когда Женя после обеда ушел к себе, Варвара Кирилловна сказала своей гостье:

– Женя у меня такой впечатлительный, а эта девчонка отчаянно его ловит. Нынче нет детей. Четырнадцатилетняя дрянь уже думает о женихах, – возмутительно!

– В их мещанской среде это так понятно! – говорила Софья Яковлевна. – Да и вообще нынешние дети... И зачем вы отдали его в гимназию, – не понимаю. Там такое общество!

– Ах, куда же отдать! Здесь хоть на наших глазах, а в закрытых заведениях, говорят, такие вещи...

– Но это все так преувеличено.

III

Женя прошел после обеда в свою комнату, в мезонин. Вспоминал разговоры за столом. Досадовал. Привык досадовать. Из всего, что говорилось за обедом, особенное впечатление на Женю произвели и уязвили его дядины слова.

«Мещанка! – думал он, перебирая книги. – И все-таки она премилая. Конечно, она дурно воспитана, действительно по-мещански, – какие манеры, и словечки! Но я ее

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
перевоспитаю: она рада мне подчиняться, она меня так любит, бедняжка, – ее не трудно будет обломать. Любовь ко мне переродит ее».

Жене вспомнилось, как они с Шаней перешли «на ты», когда поближе познакомились и сдружились. То было в самую жаркую пору лета, в межень, как говорят у нас. День был ясный, тихий, знойный.

Шаниных родителей не было дома. Шаня тихонько принесла в сад вино. Они забрались в баньку, которая стояла в глухом уголке сада: нельзя нести вино в парк – далеко, а в баньке никто не увидит. Жене ясно вспомнились его тогдашние жуткие и томные впечатления: полусветлая банька с открытыми окнами, куда вливался из сада жаркий, душистый воздух сквозь ветви кустов, тесно лепившихся у стен... бревенчатые стены, скамейки по стенам, вся странная для беседы обстановка места, где обыкновенно только моятся... сладкое и крепкое вино... тишина, уединение... птичий писк по кустам и далекое жужжанье пчел... Шанин нежный полупот... ее быстрое, теплое дыхание и аромат вина... отуманенные взоры... взволнованная кровь и ярко зардевшиеся щеки... жаркие руки; блуждающие... вздрагивающие прикосновения... ласковые Шанины улыбки... долгие, смущенные поцелуи... И за стеною смеются миллионы тихих и звонких голосов и шелестов, слышится задорный птичий писк по кустам, далекое жужжание пчел...

Женя размечтался. Сладко и томно стало ему.

– Барин, чай пить пожалуйста, – услышал он за собою голос горничной.

Женя посмотрел на смазливую девушку.

– Гости пришли, – сказала она.

– Ах, милая, ты сегодня преинтересная, – скучающим голосом проговорил Женя и лениво провел рукою по ее плечу.

Она лукаво усмехнулась.

IV

Женя сошел вниз. Его охватили привычные, бодрящие впечатления: свет ламп, красиво отраженный на обоях, на красивых одеждах и лицах дам и барышень; тихое позвякивание чайной посуды и еле различаемый аромат душистого чая, смешанный с тонким благоуханием модных духов; оживленный, но негромкий разговор, приправленный и забавной сплетней, и легким злословием по адресу отсутствующих; приветливые улыбки и любезные слова. Приятно было сознавать, что здесь собралось все-таки «лучшее» общество Сарыни.

Здесь были: уездный предводитель дворянства Ваулин, из отставных военных, господин очень вежливый, нарумяненный, затянутый в корсет, от которого его стан казался деревянным; его дочь, девушка лет шестнадцати, со скучающим, бледным лицом, которое казалось немного припухлым; директор гимназии Кошурин, длинный и веселый господин, недавно переведенный сюда из Петербурга и забавлявший дам не очень свежими столичными анекдотами да рассказами про любовь по Библии; его сын Павел, гимназист седьмого класса, румяный и красивый мальчик, плотный, упитанный, выхолненный, хотя уже с некоторою раннею блеклостью кожи под глазами, большими, но несколько тусклыми; седой полковник; тучный судебный следователь и еще несколько офицеров, девиц и дам.

Павел Кошурин что-то доказывал в кругу молодых людей и барышень. Женя подошел к ним.

– Все это так условно, – говорил Кошурин слегка дребезжащим, не установившимся голосом переходного возраста, – нравственность, долг: что у нас нравственно, то в другом месте или в другое время безнравственно, и наоборот. А потому мы нисколько не обязаны следовать тому, что кто-нибудь считает нравственным или хорошим.

– Конечно, – подтвердил Женя.

– Надо стоять выше буржуазной морали, – пискнул молоденький офицерик с румяным и красивым лицом.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

– Позвольте, – вмешался седой полковник, вслушавшись с своего места, – вот я вас спрошу, – если вам представился случай украсть, вы бы ведь не украли?

– Разумеется, не украл бы, – ответил Женя, пожимая плечами.

– Ну, вот видите, значит, не все так условно...

– Но позвольте, – горячо возразил Кошурин, – ведь я и каждый из нас почему не украли бы? Вовсе не потому, что считаем это безнравственным. Не ворует, в сущности, мы только потому, что боимся, как бы нас не поймали.

– Нет, извините, – возразил полковник слегка обидчивым тоном, – это не о всех можно сказать.

– Или потому не ворует, – пояснил Женя, – что боимся того, что нельзя будет воспользоваться краденым, а риск велик. Воруют только дураки, и почти всегда попадают, а умный человек не пойдет красть, но вовсе не потому, что это безнравственно.

– А почему?

– Да потому только, что это невыгодно.

– Ну, нет-с, позвольте не согласиться. Вы это изволите рассуждать так, вам нравится, может быть, смелые слова произносить, – а я из своего жизненного опыта могу вас уверить: есть люди, которые не воруют именно только потому, что гнушаются такой низостью.

В других местах тоже прислушивались к спору, и слова полковника вызвали сочувственные отклики.

– Вдруг бы мы пошли воровать! можно ли это себе представить! – восклицала Софья Яковлевна.

– Да, трудно представить кого-нибудь из нас в роли грабителя или мошенника! – с холодной усмешкой сказал Модест Григорьевич.

– Нет, молодой человек, – внушительно сказал седой полковник, обращаясь к Кошурину, – люди нашего старого поколения твердо знают, что воровать – постыдно.

– Всякие бывают люди, – с усмешкой ответил Павел Кошурин, – а мы о себе только говорим: если б можно было украсть красиво и безопасно большой куш, этот миллиончиков с десятков, я бы украл и не задумался бы ни на минуту.

– Ну, это так только говорится, для красного словца, – решил полковник и повернулся к тучному следователю продолжать с ним прерванную беседу.

– Этим господам нас не понять, – говорил Павел Кошурин барышням, – у нас совсем разные натуры. У людей прежних поколений все застыло в определенных формах. Они просто не смеют выйти из своих рамок. У нас развивается тонкая нервная организация; нам доступен такой мир, который им недоступен.

– Может быть, этот мир и им был доступен в молодости, – сказала Катя Ваулина.

– О, нет: мы – совсем иное дело. Ведь они о чем в молодости мечтали? о славе, о любви, о благе народа, – какая чепуха, не правда ли? Вдруг ходили в народ. К этим пьяным, грязным дикарям. Зачем! как это глупо! Нет, для нас в жизни существует только изящное, прекрасное. Мужики – скотоподобные. Мы их ненавидим. Жизнь должна давать нам наслаждения, иначе не стоит и жить.

– Да ведь и старички тоже наслаждались жизнью, – пыталась спорить Катя.

– Да, но наивно, грубо; они не выходили из рамок условного. Я вам приведу пример в цветах: им нравились яркие цвета, – красное, голубое, зеленое, – нам нравятся нежные, еле уловимые оттенки.

– О, да! – согласилась Катя.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
– То же и во всех чувствах. Мы улавливаем тонкие, неопределенные ощущения, которые им непонятны. То же и в искусстве: им нравится Пушкин, мы упиваемся туманными дымками фетовских стихов.

– Ах, стихи! Прочтите нам какое-нибудь свое стихотворение! – просительным голосом воскликнула молоденькая барышня в розовом платье и с наивным лицом.

– Да, да, пожалуйста! – просили и другие барышни.

Павел Кошурин улыбнулся небрежно и самоуверенно.

– Мне удалось на днях создать очень замечательное и оригинальное стихотворение. Я его прочту вам, если угодно, но в пояснение вам надо сказать несколько слов. Собственно, стихи и не следует объяснять, но я иду совсем особою дорогой, – я не подражаю никому, и потому вам мои стихи могут на первый взгляд показаться не совсем ясными: в них надо вчитываться. Я, видите ли, довел свои нервы до такой чуткости, что начинаю видеть голубые вещи.

– Голубые вещи? что это такое? – восклицала розовая барышня.

– Это что-нибудь страшное? – опасливо спросила Катя Ваулина.

Кошурин снисходительно улыбнулся.

– Это, как бы вам сказать... Да это, впрочем, все видели, только не понимали. Помните, случается, что вам иногда что-нибудь покажется в углу комнаты, или на стуле, или на диване, какая-нибудь голубая тень. Вы подходите и приискиваете естественное объяснение: платье висит, или стоит зонтик, или что-нибудь лежит на стуле, – и вы успокаиваетесь. Вы уж привыкли находить такие объяснения и верите им.

– А если там ничего нет? – спросил розовый подпоручик.

– Ну, вы уверите себя, что вам только показалось. Но это и на самом деле прошла голубая тень, душа какого-нибудь умершего существа, – они всегда проходят мимо нас, только мы не хотим видеть.

Глаза барышень широко раскрылись.

– Но зачем же они ходят? – спросила барышня в розовом.

– Зачем? Может быть, он хотят к нам обратиться, сообщить нам что-то, а мы не обращаем внимания. Это, собственно, еще не самые души: когда человек умирает, его душа выходит, и она в голубой оболочке, которая легче всякой земной материи, – и эта оболочка еще долго живет на земле, пока душа от нее не освободится.

– Но, значит, их очень много? – боязливо сказала Катя.

– Ну, не так много, – усмехаясь, ответил Павел Кошурин. – Ведь одни только дворяне бессмертны. Мужики издыхают, как скоты.

– Неужели? – воскликнула розовая барышня.

– Уверяю вас. Кстати, вы знаете, что мы ведем свой род от времен Ивана Грозного. Но я начал о голубых вещах. Голубых ясно можно видеть, если изошрит внимание.

– То есть если расстроить нервы, – опять вмешался полковник.

– Почему же расстроить, а не настроить? – спросил Кошурин, пожимая плечами. – Я начинаю достигать этого. Вчера в сумерках я сидел один у себя. Задумался. Было тихо. Сажу вот так, откинувшись на спинку кресла, руки протянуты на коленях, – и вот я вижу, подошла ко мне, тихо-тихо, голубая тень и стала близко... все ближе, – ближе, – наконец я чувствую на руках кончики ее крыльев.

Гимназист остановился и значительно смотрел на слушателей.

– Тень крылатая! – заметил Аполлинарий Григорьевич, который вместе с другими снова начал вслушиваться в речи румяного гимназиста.

- Прямо из высших сфер, – с веселым смехом сказал Кошурин-отец.
- Что же она говорила? – спросила Катя, доверчиво и испуганно глядя на гимназиста.
- Пока еще я ничего не слышал. Но вот слушайте мои стихи.
- Господа, – сказал Аполлинарий Григорьевич, – прошу внимания. Юный поэт прочтет свои стихи.

Все стали слушать, Кошурин-младший принял мечтательно-горделивую позу и торжественно продекламировал:

Вдохновенные руки бессильно томятся на грустных коленях...
Замечаю внимательным взором движенье в таинственных тенях...
Вдохновенье ль желанных сношений, немая ли это забава, –
Голубая, прозрачная тихо ко мне опускается пава.
Голубое крыло над рукою моею колышется зыбко,
А на клюве прозрачном дрожит незнакомая миру улыбка.
Катя в восторге смотрела на поэта. Седой полковник откровенно засмеялся, а Аполлинарий Григорьевич сказал, лукаво усмехаясь:

- Славные стихи. В наше время таких не писали. Только не понимаю я, о чем грустят колени.
- Это, видите ли, передается впечатление, – небрежным тоном пояснил гимназист. – Всякая вещь имеет свою физиономию, и члены человеческого тела тоже.
- Позвольте спросить, – обратился к Кошурину Ваулин, – почему именно вы изволите упоминать в ваших стихах паву, а не другую птицу – орла бы, например?
- Извините, этого я не могу объяснить. Это надо почувствовать.
- Пава – это символ, – сказал Женя.
- Символ чего, позвольте спросить? – продолжал любопытствовать Ваулин, устремляя на гимназистов серые пронизательные глаза.
- Символ чего-то такого.. я не могу это выразить.
- Если хотите, – снисходительно объяснил наконец Кошурин, – символ гордого стремления к неизвестному. Я, по крайней мере, так объясняю себе. Но я должен сказать, что когда я создаю стихи, я не понимаю, что пишу.
- О, да, это заметно, – очень любезно согласился Ваулин.
- Я на него уж и рукой махнул, – с веселым смехом заявил Кошурин-отец.

У

Павел Кошурин и Катя Ваулина сидели уединившись в уголке. Гимназист в чем-то настойчиво убеждал девушку, которая неопределенно улыбалась и покрывалась слабым румянцем.

- Позвольте же, – воскликнул наконец гимназист, – прочесть мои стихи, посвященные вам. То, что я должен вам сказать, прозой не выходит убедительно, – стало быть, это надо сказать стихами. Надеюсь, вы поймете или почувствуете. Слушайте.

Катя закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Гимназист, близко наклонясь к ней, продекламировал страстным полусшепотом:

Отодвинул я завесы плотные, –
Запечатана тайная дверь.
Беззаботные, безотчетные, –
Отчего не теперь?
Облелеял бы лаской блуждающей
Я твою заповедную дверь...

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Утомляющей, утоляющей, –

О, не бойся, поверь!

Кошурин кончил. Катя сидела с закрытыми глазами и словно ждала еще чего-то. Наконец она открыла глаза. В них было блудливое и желающее выражение.

– Все? – спросила она очень тихо.

– Все. Поняли?

– Может быть. Только...

– Что только?

– Положим верю, – а дальше что?

– Дальше после, – ответил гимназист, радостно улыбаясь.

Катя отошла от него.

– Что, – спросил Женя, подходя к Кошурину, – у тебя, кажется, была интересная беседа с Катей Ваулиной?

– Да, – дурочка, такая боязливая, не может понять, что можно и невинность соблюсти, и...

– Капитал приобрести? – поспешил досказать Женя.

– Ну, капитал не капитал, а насладиться во все свое удовольствие. Впрочем, я, кажется, обратил ее в свою веру стихами. Хочешь, прочту тебе?

– Прочти.

Кошурин повторил свое произведение.

– Понял? – спросил он, окончив чтение.

Женя захохотал.

– Она-то поняла? – спросил он.

– На то похоже. Но, – само собой, об этом никому ни гугу.

– Разумеется.

Глава 4

I

Владимир Гарволин жил со своею матерью недалеко от Самсоновых. Он с детства водил дружбу с Шаней и частенько катал ее на салазках с той горки, что стояла в Самсоновском парке. Давно уже обольстила его сердце пленительно-веселая девочка, но, застенчивый и неловкий, он не умел выразить своего чувства и казался грубым и суровым. По праву старой детской дружбы он говорил Шане ты, Шаня была с ним доверчива, Шаня любила поболтать с ним о своем милом Женечке, – жестокая Шаня! И чем больше бичевала Шаня Володино сердце речами о Хмарове, тем милее и дороже становилась она для него, – радостная, недостижимая.

А дома была у Гарволина грусть. Неонила Петровна, его мать, вдова здешнего чиновника, получала небольшую пенсию, давала за ничтожную плату уроки девочкам, которые ходили к ней готовиться в гимназию, а по вечерам отправлялась читать романы престарелой, полуглухой барыне, которая платила ей скудно и неаккуратно, задерживала ее почти каждый раз до поздней ночи, нестерпимо капризничала да и считала себя благодетельницей, потому что иногда приглашала Неонилу Петровну с Володей обедать.

В последнее время Володя тяготился этими обедами и раза два пробовал увернуться от них. Но это было неудобно: капризная старуха жестоко обижалась, что пренебрегают ее приглашениями, и не хотела слушать никаких резоннов. Ей нравилось видеть Володю, – он был застенчив и неловок, и она за обедом всласть шпыняла его благожелательными наставлениями.

– Для твоей же пользы, батюшка, – приговаривала она, – мальчик ты хороший, а в жизни и полировка нужна. Неотесанным дубиной только тын подпирать.

Хоть очень неприятны Володе были эти обеды, но приходилось–таки ходить: мать просила, – а то еще место потеряет.

Нелегко достаются деньги, трудна жизнь. Утро до трех часов уходило на занятия с девочками. В это же время надо было готовить обед: постоянную прислугу держать было не на что, а ходила находом баба, мещанка, которая жила недалеко. Эта баба придет утром, натаскает дров, наносит воды, приберет кой–что и уходит до следующего утра; в назначенные дни придет вымыть полы, выстирать белье. Девочки уйдут, – еще много дома заботы и работы; шить, починить, заштопать. Придет вечер – надо идти на другой край города, добывать гроши чтением. Каждый день, во всякую погоду, в дождь, в снежную метель, в морозы тащиться в стареньком пальтишке, которое плохо греет стареющее тело, – это было трудно.

Неонила Петровна была женщина болезненная, нервная. Девочки раздражали ее, но с ними надо было ладить. Надо было приноравливаться и к капризам богатой старухи. У Неонилы Петровны болела грудь, она все чаще кашляла, все более и более высыхала и сморщивалась. К сорока пяти годам она казалась уже совсем старухой. Чтение сильно утомляло ее, но его нельзя было оставлять: деньги нужны.

Когда Володя подрос, он стал искать для себя какой–нибудь работы, каких–нибудь уроков, – все это оплачивалось дешево, и денег с трудом хватало. Володя подумывал бросить гимназию, идти в чиновники, – мать не соглашалась.

– Дотяни как–нибудь, – без диплома век нищим будешь.

Был у Володи в Сызрани дядя, брат его покойного отца, но тому помогать было не из чего: он служил в казначействе на маленьком жалованьи и имел полдюжины детей, которым иногда не на что было и башмаков купить.

Бывало вечером Неонила Петровна собирается идти к своей старухе, одевается, укутывается в какие–то тряпки и кашляет, мучительно кашляет.

– Ты бы, мама, сегодня дома посидела, – говорит Володя, помогая ей одеваться, – слышишь, ветер так и воет, – еще больше простудишься.

– А вот закутаюсь хорошенько, и ничего мне не будет.

– Хоть бы один вечер отдохнула.

– Я отдыхать буду, а деньги сами к нам придут! – раздражительно говорит Неонила Петровна.

– Проживем как–нибудь, мама, – побереги здоровье.

– Раз умирать надо!

У Володи сжимается сердце, когда мама говорит о смерти. Он принимается мечтать, как он кончит курс в университете, получит хорошее место и успокоит маму, – усиленно старается представить себе подробности будущего житья–бытья, а в мозгу настойчиво повторяется: «Не дотянет, умрет».

Мать кашляет мучительно и покорно говорит:

– Видно, помирать пора.

Володино сердце мучительно ноет.

«Как же другие живут?» – спрашивает он себя и представляет себе людей богатых, и бедных, и счастливых, и обездоленных... Старухи, хилые, бесприютные, надорвавшиеся в непосильной работе. Но жалость к одной из этих старух, близкой, милой, перевешивает в его сердце слабую, надуманную для утешения жалость к миллионам еще более несчастных существ.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
В воскресенье у обедни Мария Николаевна встретила Неонилу Петровну с Володей и зазвала их к себе обедать.

– Вот, снимались у приезжего фотографа, – рассказывала дома Марья Николаевна, – Шанька, подари, что ль, Володеньке свой портрет.

Шаня побежала к себе; за нею пошел и Володя.

– Слушай, Шаня, – угрюмо заговорил он, когда они остались одни в ее комнате, – ты думаешь, Хмаров на тебе когда-нибудь женится?

Шаня покраснела и от раскрытого еще комода, где она искала свои карточки, повернулась к Володе.

– С чего ты это? – спросила она. – Да я и не думаю. Что я за невеста? Я еще в куклы играю.

И она весело засмеялась и опять принялась шарить в комоде, торопясь и не находя.

– Ну, положим, думать-то ты думаешь! – сказал Гарволин. – А только напрасно: маменька ему не позволит.

– Да тебе-то что за печаль? – рассердилась Шаня. – Выискался какой!

– Тебя жалко: обманет он тебя.

– Он – честный! – запальчиво крикнула Шаня.

Она нашла свои карточки и держала их, не вынимая из конверта, гневно сверкая на Володю черными глазами.

– Ну, честный насчет другого чего, может быть, – угрюмо сказал Володя, – а на эти дела все они... Скажет: маменька не велит.

– Неправда! Ты – злой, злючка, ты со злости так говоришь, а сам знаешь, что неправда. Он – честный, он никогда не обманет, он милый, хороший!

Шаня притопывала ногами и щеки ее пышно рдели. Володя вздохнул.

– Ну, давай тебе Бог. Только все ж держи ухо востро.

– И слушать не хочу, и молчи, пожалуйста. И никогда вперед не смей так говорить. На вот лучше карточку, хоть и не стоишь ты за такие слова. Самую хорошую тебе выбрала.

– Эх, Шанечка!

Шаня призадумалась на минутку и вдруг весело и лукаво улыbnулась.

– Слушай-ка ты лучше, что я тебе скажу, – сказала она Володе. – Скажи мне, синий или красный? Ну, живей.

– Ну, что такое? – с удивлением спросил Гарволин.

– Скорей, скорей! – торопила Шаня. – Я задумала кое-что. Ну говори же, синий или красный.

– Красный! – угрюмо сказал Володя. – Чепуха какая-нибудь.

Шаня звонко и радостно засмеялась.

– Не обманет, не обманет! – закричала она, прыгая и хлопая в ладоши. – Знаешь, что я сейчас загадала?

– Ну?

– Если синий, так он меня бросит, если красный – не бросит. Ну что, чья выходит правда? Вот видишь, какой ты злой. Видишь, вышло, что не бросит, а ты на него

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
врешь такие вещи.

– Эх ты, стрекоза! – уныло сказал Володя. – Задаст он тебе такого красного!

– Слушай, Володя, – заговорила вдруг Шаня, лукаво улыбаясь и заглядывая ему в глаза, – ведь ты все это из ревности?

Володя вспыхнул и угрюмо отвернулся.

– Из ревности, да? Ведь да? признайся, – шептала Шаня.

– Эх, Шанька, брось его, право, брось! – горячо и убедительно заговорил Володя и взял Шаню за руки.

Шаня засмеялась, вырвалась от него, запрыгала и закричала:

– Не обманет! Не обманет! Красный! Красный! Красный!

Володя безнадежно махнул рукой. Ему стало еще грустнее, чем прежде. Он увидел, что Шаня заглянула в его сердце и смеется, жестокая, беззаботно.

Заглянула в его сердце, – и ей радостно, что ее любят: это льстит ей. Она никому не откроет Володина секрета, – зачем? он – милый. Но ей сладко, что у нее есть такие секреты. Она знает, что Володя будет хранить ее карточку как святыню, – но она не знает, как трудно Володе.

III

В понедельник, часа в три, Шаня встретила с Женей в Летнем саду.

– Хочешь, Женечка, я подарю тебе свой портрет? – спросила она, кокетливо и наивно улыбаясь.

– Подари, Шанечка.

Шаня вынула из кармана фотографическую карточку.

– У приезжего снимались? – спросил Женя, рассматривая портрет.

– Да.

– Впрочем, здесь у кого же еще.

– Еле выпросила у отца, – не к чему, говорит, мы тебя и так видим.

– Резон! – насмешливо сказал Женя.

– Зато и сами снялись.

– Гуртом дешевле, – дело.

– Ну, вот, я тебя и осчастливила, – сказала Шаня и весело глянула сбоку, слегка нагнувшись, в Женино лицо.

– Осчастливила, Шанечка, спасибо! – сказал Женя.

– А только, если ее у тебя увидят, тебе достанется, пожалуй?

– Ну вот, – я спрячу подальше и буду хранить. Никто не увидит.

– Да, да, спрячь подальше.

Шане стало обидно, что Женя должен спрятать ее карточку, но она постаралась скрыть от Жени свое чувство. Вечером в своей постели она вспомнила опять, что Женя будет прятать от родных ее карточку, как запрещенную вещь, как непристойное или краденое, – и заплакала от обиды.

Шане не вспомнился в эти минуты Володя Гарволин. А он рассматривал ее карточку вместе с матерью и ни от кого не прятал ее.

IV

Несмотря на то, что мать запретила Жене ходить к Шане, он все-таки улучал иногда свободные минуты и забегал к ней. Давно уже собирался он сделать ей какой-нибудь подарочек, да не было у него лишних денег. Женя всегда имел карманные деньги в весьма приличном количестве, да не находилось у него таких денег, которые не были бы назначены на его собственные прихоти. Просить лишних денег у матери или отца было бесполезно: Хмаровы и так жили не по средствам. Именьё было заложено и давало так мало дохода, что Хмаровым уже года два приходилось отказываться от заграничных поездок, к которым они привыкли. Жалованье, которое получал Модест Григорьевич по своей судебной должности, проживалось без остатка, и много было долгов. Понятно, что Женя не мог рассчитывать на лишнее.

Наконец, случайно скопилась в его кошельке некоторая сумма, которую он решил употребить на подарок Шане. Он отправился в лавки, приценился к разным вещичкам, сравнил, выбирал и кончил, совсем неожиданно для себя самого, тем, что купил для себя хорошенький портсигар: уж очень любезен был приказчик и очень изящною показалась Жене вещица. Выходя из магазина, он утешил себя соображением, что у Шани и так всего много: она не нуждается так, как он. И притом, если подарить ей что-нибудь, она, пожалуй, не сумеет утаить этого от родителей, и те, пожалуй, еще поколотят, – что хорошего!

«Лучше я так приду, – она и без подарков мне рада! – соображал он. – После тех дикарей, которые окружают ее дома, я должен показаться ей человеком с луны».

Подходя к парку Самсоновых, Женя услышал голос Шани, которая заунывно напевала:

Если б, сердце, ты лежало

На руках моих,

Все качала бы, качала

я тебя на них.

Женя поморщился.

«Этакая пошлость!» – подумал он.

Шаня увидела его и покраснела: ей стало стыдно, что он слышал ее пение. Но она не любила быть долго сконфуженной, весело засмеялась и спросила Женю:

– Ну, что, хорошо я пою?

– Поешь-то ты хорошо...

– Да где-то сядешь? – докончила Шаня. – Ну, хорошо, хочешь, я тебе спою?

– Спой, только, пожалуйста, не эту пошлость, что я слышал.

– Чем же это пошлость?

– Да помилуй, разве можно такими вещами наслаждаться!

Шаня замолчала, сорвала ветку рябины и стала ее ощипывать.

– Что ж ты не поешь? – спросил Женя. – Или ты обиделась?

– Ничуть не обиделась, а не хочу.

– Сейчас же хотела.

– А сейчас и отхотела. У меня это скоро. Пойдем-ка лучше на качели.

– Пойдем. Только ты, может быть, обиделась?

– Ну да, вот еще.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Шаня и Женя забрались на качели. Тяжелая доска, подвешенная на четырех толстых брусках, раскачивается с легким скрипом, все выше и выше. Шаня сильно работает руками и ногами: ей нравится подбрасывать доску высоко, высоко, – и она радостно, звонко смеется. Доска взлетает выше и выше. Сначала Женя старается не отставать от девочки и, в отместку ей, подкидывать ее конец с каждым разом все выше. Потом ему приходится только держаться. Он начинает бояться и бледнеет. Он держится руками, упирается из всех сил ногами в доску, – ноги его как-то странно и страшно начинают отставать от доски при каждом взлете, и ему каждый раз кажется, что вот-вот он сорвется. А Шанька все поддает доску, поддает без конца.

– Довольно, – говорит он наконец глухим от волнения голосом.

Шанька не унимается: она работает так, что пот струится по ее лицу, – ей хочется сделать, чтобы доска стала вертикально.

– Довольно, Шанька, упадешь, – говорит Женя, задыхаясь.

Шанька отчаянно стиснула зубы. Еще один неистовый взмах, – и доска стала вертикально. На одно мгновение Женя видит прямо под собой напряженно-вытянутую фигуру девочки. Женя замирает от ужаса и беспомощно корчится, – и стремится за доской вниз, безнадежно уцепившись оцепенелыми руками за брусья, – и вот Шанька уже опять над ним и упруго приседает, чтобы повторить ужасный взмах качелей.

– Перестань, Шанька, говорят тебе! – кричит Женя бешеным голосом.

Качели взлетают по-прежнему высоко, но Шаня видит, что Женя побледнел, и перестает поддавать. Раскачавшиеся качели тяжело колышатся, Шанька тяжело дышит, черные глаза ее мерцают торжеством победы.

Не дожидаясь, когда качели остановятся, улучив благоприятный момент, Женя соскочил с доски и быстро отошел в сторону, подальше от качелей. Ему не хочется и смотреть на них: у него кружится голова.

– Ну, чего ты боишься? – спросила Шаня, спрыгивая с качелей, и побежала за ним.

– Я за тебя боюсь, ты могла ушибиться.

– Привыкла! – беспечно ответила Шаня.

– Мало ли что. Если б ты упала, я бы считал себя виновником твоего несчастья.

– Велико несчастье!

– Ты могла бы до смерти убиться, пойми, пожалуйста.

– До смерти! Большая беда. Раз умирать надо, а все трусить, так и жить не стоит, – скучно очень.

– А обо мне ты не думаешь? – убеждал Женя, досадливо краснея. – Что бы со мною было, если бы ты умерла?

Шаня звонко засмеялась и повернула Женю за плечи кругом.

– Ах ты, философ! – крикнула она. – Уж очень ты цирлих-манирлих, как я погляжу, – уж я даже и не понимаю.

У

После праздничной обедни народ толпами выходил из собора. Варвара Кирилловна остановилась на паперти и поджидала кого-то в толпе.

– Охота связываться! – недовольным тоном сказал Модест Григорьевич.

– Иди, пожалуйста, домой! – с раздражением ответила Варвара Кирилловна, – и не беспокойся, я все самым приличным образом улажу.

– Как знаешь, только я тебя предупреждал...

– Хорошо, хорошо, знаю.

Модест Григорьевич пожал плечами и отправился домой. В это время из церкви показалась Марья Николаевна с Шаней. Варвара Кирилловна подошла к ним.

– Я, моя милая, хочу сказать вам кое-что, – величественно обратилась она к Марье Николаевне.

– Сделайте ваше одолжение, послушаю, – отвечала Марья Николаевна спокойно. – Беги, Шанька, домой, нечего тебе тут.

Шаня весело побежала вперед. Варвара Кирилловна и Марья Николаевна сошли с паперти и медленно двигались в толпе горожан. Варвара Кирилловна немного помолчала, потом начала:

– Я хочу вас просить, чтоб вы запретили вашей дочери вести знакомство с моим сыном.

– А вы бы, сударыня, лучше вашему сыну запретили: я и так свою Шаньку в ваш сад не пускаю, – а ваш-то сынок частенько около наших яблонь околачивается.

– Дело не в яблонях, моя милая, – вы должны понимать, что ваша дочь моему сыну не пара.

– Отлично понимаем, сударыня, – мы вашего сына в свой дом и не пустим, а только чего ж он к Шаньке вяжется?

– Уж я не знаю, моя милая, кто к кому вяжется, как вы выражаетесь.

– Да что, сударыня, я вам такая милая сделалась? Будто бы и не было моего желания так уж вам угодить.

– Послушайте, – сказала Варвара Кирилловна, краснея от негодования, – я, наконец, решительно требую, чтоб это безобразие было прекращено.

– Не знаю, про какое такое безобразие изволите говорить, а только что уж очень много у вас форсу, сударыня.

– Как ты смеешь со мной так разговаривать, дерзкая баба! – внезапно вспылила Хмарова. – Да знаешь ли ты..

– Да ты-то что ершишься! – закричала Марья Николаевна, так же внезапно выходя из себя. – Что муж-то твой генералом будет! Так еще пока будет, да и то он, а не ты. А у нас, у баб, звезды-то у всех одинаковы.

Марья Николаевна все более и более повышала голос. В толпе стали прислушиваться и оглядываться. Варвара Кирилловна поторопилась отойти подальше.

– Нахальная баба! – проворчала она, больше для своего удовольствия.

– Что, – кричала вслед ей Самсонова, – не нравится, небось?

Дома Шаньке досталось от матери, зачем она водится с Хмаровым: Марья Николаевна сорвала остаток злобы на Шаньке и больно высекла ее. Шаня заплакала и принялась вышивать в подарок жене кошелек: была бы ему память, если б не дали повидаться.

Однако встречи повторялись. Евгения тянуло к Шане. Его родители были очень озабочены своими делами, – им было не до Жени: Модест Григорьевич хлопотал о переводе в Крутогорск на более видную должность. Место, которого желал он, было еще занято, на него было много других кандидатов, и Хмаровы сильно волновались.

VI

Осенний ясный день. Холодноватый ветерок. Невысокое солнце как-то лихорадочно жаркое. Листья ярка и разноцветна. Дорожки старого парка журчат опавшими листьями; опавшие блеклые листья заволакивают у берегов воду в пруде, рябят поверхность узких протоков. Женья и Шаня сидят в беседке в конце парка у низкой изгороди и смотрят на унылое поле, на мелкую речку.

– А помнишь, – спросила Шаня, – как мы с тобой летом в этой речке ловили раков

руками? Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

Женя краснеет. Как подумаешь, каких глупостей не наделаешь, если влюблен!

Шаня приготовила Жене подарочек, – шитый бисером и шелками кошелек, – и держит его в кармане. Она мечтает, как он будет рад подарочку, – ей приятно мечтать об этом, и она оттягивает ту минуту, когда отдаст ему кошелек. Она знает, что он и кошелек должен будет спрятать, как ее портрет, но пусть! пусть! зато он сам порадуется. Наконец она опускает руку в карман, нащупывает там кошелек и веселыми глазами, посмеиваясь, с значительным видом посматривает на Женю.

– Ну, в чем дело? – спрашивает Женя и улыбается.

– Женечка, – внезапно смущаясь, говорит Шаня, – вот я тебе подарочек приготовила на память. Сама вышивала.

Она достала кошелек и подала его Жене.

Женя покраснел и смешался: он вспомнил вдруг, как он покупал подарок Шане и не купил, – и ему стало стыдно и досадно.

– Спасибо, – пробормотал он, неловко поворачивая кошелек в пальцах, – очень мило. Но зачем ты это? Ах, Шаня, это неудобно.

– Неудобно? – спросила Шаня, и на лице ее отразилось недоумение и обида.

– Ну да, конечно, как ты не понимаешь.

– Где ж мне понимать. Я думала, тебе приятно...

– Вот ты мне даришь, точно намекаешь, чтоб и я тебе дарил, – недовольным и обиженным тоном объяснял Женя.

– Ничего я не намекаю, – сердито сказала Шаня, постукивая носком башмака по песку дорожки.

Женя не обратил внимания на перерыв: он слишком занят был своим негодованием.

– А почему я тебе не дарю? Ну, положим, я подарю...

– Ничего мне от тебя не надо.

– А твой отец увидит, тебе же достанется. Я не хочу подводить тебя под неприятности. А не могу же я принимать от тебя подарки, если сам ничего тебе не буду дарить.

– Ничего мне не надо, – шепнула Шаня и заплакала. – Разве я для подарков? – крикнула она стесненным от слез голосом, всхлипывая.

– С тобой совсем нельзя говорить, Шаня, ты несколько не жалеешь моих нервов, – говорил Женя дрожащими от ярости губами. – Ты просто психопатка какая-то.

Он побледнел и вздрагивал от злости.

– Психопатка! – повторила Шаня, плача. – Ишь ты, какое слово выдумал, – психопатка! Поди ж ты как! А ты куропатка! Противный, – тебе же хотела угодить, а ты ругаешься.

Женя почувствовал наконец, что говорит несправедливые глупости. Ему стало жаль, что Шаня плачет.

– Ну, чего ж ты плачешь? – заговорил он примирительно. – Ведь я не хотел тебя обидеть.

– А зачем ругаешься?

– Ну извини, Шанечка, больше не буду.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Женя отымал Шанины руки от ее лица и целовал ее мокрые от слез глаза. Шаня слабо отбивалась.

– Уж очень у тебя скоро, – говорила она, – сейчас ругался, а сейчас и нежности, – ловкий какой! Коли я психопатка, так ты меня и не тронь. Ишь, слово какое!

– Ну полно, Шанечка, – уговаривал Женя, целуя мокрые пальцы Шаниных рук, – не ворчи, ты не старушка.

Шаня вдруг засмеялась, вскочила со скамейки и крикнула:

– А кошелек возьмешь?

– Возьму, Шанечка, – спасибо, милая.

– И спрячешь?

– И спрячу.

– И будешь хранить?

– И буду хранить.

– Ах ты, куропатка! Беги, догоняй меня, – не догонишь.

Шаня со звонким смехом побежала по дорожкам, на бегу стирая руками со щек остатки слез. Женя догонял ее.

Глава 5

I

Зима в том году была снежная и холодная. Шаня и Женя продолжали встречаться, – то в Летнем саду, то на общем катке, на речке. Но на катке мешали Маня и родители Хмарова.

Чаще и охотнее дети сходились по-прежнему в саду и в парке Самсонова. Теперь, когда в саду нечего было караулить, попадать в него было легче: Шаня заботилась, чтоб всегда была незамкнута калиточка в высоком частоколе сада.

Чтобы не дрогнуть в саду на морозе, порою забирались они в баньку, по тем дням, когда ее не топили: хоть и там было холодно, а все же в стенах хоть ветер не тревожил. Короткие свидания проходили в невинных поцелуях и наивных разговорах.

Иногда Шаня и Женя украдкой пробегали мимо дома в парк и катались с горы на салазках.

II

Впрочем, Шане не было надобности много прятаться: ее родителям тоже было не до нее. Самсонов все чаще уходил к своей любовнице, пышнотелой и белолицей мещанской девице, для которой он нанял небольшую квартиру. Марья Николаевна бешено ругалась с мужем. Ее страстные крики иногда будили в нем прежнюю страсть к ней, – но возвраты его нежности только больше раздражали и томили ее.

Наконец и она нашла себе утешителя, скромного телеграфиста Кириллова, которого взяла сама и который очень робел перед нею. Любви к нему Марья Николаевна не чувствовала, а ходила к нему из злости к мужу. Но открыть это мужу она не смела – боялась побоев – и только темными намеками дразнила его. Самсонов, может быть, догадывался, но был доволен, что жена стала меньше ругаться с ним.

Бывало, зимним вечером, закутавшись и закрыв лицо, Марья Николаевна пробирается по задним улицам, по снежным сугробам к дому, где жил Кириллов. В ночной темноте светится и светит только снег. Глухие места, задворки, – редко, редко где в окне виден огонь, еще реже встретится прохожий.

Вот и огород, и нарочно не закрытая калитка. Марья Николаевна идет протоптанною в снегу тропинкою мимо заваленных снегом грядок, очертания которых еле заметно волнисты. Она подходит к домику, два окошечка которого глядят в огород. Окна освещены, и шторы не спущены.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
«Дурак!» – досадливо думает Марья Николаевна и заглядывает в окно.

Кириллов, молодой человек с бесцветными бровями и льняными волосами, стоит без сюртука посреди комнаты и усердно пилит смычком дрянную скрипчонку, извлекая жалостные, дребезжащие звуки. Марья Николаевна легонько стучит пальцами в стекло, – Кириллов мечется по комнате, торопливо напяливает на себя форменный сюртук и бежит отворять двери.

Он робеет перед своею гостьей, суетится около нее, неловко помогая ей раздеваться, но она недовольно отстраняет его.

– Завесь окно сначала, – говорит она, – сам-то, батюшка, и об этом не умеешь догадаться.

Кириллов бросается к окошкам. Марья Николаевна садится на жесткий диван и недовольными глазами окидывает тщедушную фигуру хозяина и бедную обстановку маленькой комнаты. Кириллов становится перед нею, потирает руки и не знает, что сказать. Марья Николаевна кажется ему слишком велика для его комнатки.

– Ну, что ж стоишь, садись, что ли, занимай гостью, – говорит Марья Николаевна.

Кириллов садится на диван и осторожно подвигается к Марье Николаевне; ее огненные глаза начинают зажигать его вялую и боязливую страстность.

– Ты о себе, однако, много не мечтай, – говорит Марья Николаевна. – Ты воображаешь, очень ты мне люб.

– Коли не погнушались прийти, – лепечет Кириллов, дотрагиваясь слегка пальцами до талии своей гостьи, так же осторожно, как до раскаленной печки, – то стало быть...

– Как бы не так, – перебивает Марья Николаевна, сердито отодвигаясь. – Своему черту назло, – так и знай. Изболела моя душа, на его такие качества гляючи. На отместку ему тебя завела.

– Очень мне обидно от вас такие жестокие слова выслушивать, – говорит Кириллов, смелее схватывая рукой талию Самсоновой, которая уже не отодвигается дальше.

– Обидно! Большая мне печаль! – отвечает Марья Николаевна. – Эх ты, сухопарый! Ты и целоваться не умеешь так, как он.

– Помилуйте, Марья Николаевна, уж я ли, кажется, не стараюсь.

– Дурак. И больше ничего. Мой-то сокол, пока еще я была ему любя.. Эх, да что тут и вспоминать. Вот бросил, – а узнает, что я у тебя была, на месте убьет. А ты, слюнтяй ты этакий, и окошек занавесить вовремя не умеешь.

III

– Что тебя давно не видать у нас? – спросила Шаня, встретив Гарволина по дороге из гимназии.

– Мать шибко нездорова, – угрюмо ответил Володя.

Неонила Петровна сильно простудилась в один из ненастных зимних вечеров, пробираясь к своей старухе читать романы, – думала сначала, что это пройдет, перемогалась и наконец слегла. С каждым днем она заметно слабела. Володе страшно было думать, что мать умрет, но он не мог не думать об этом, – и напрасно старался утешить себя надеждой на выздоровление матери. Лекарь добросовестно и внимательно выстукивал и выслушивал ее грудь, присаживался к столу и мучительно выжимал из себя какие-то рецепты, – но помочь не мог. Он видел, что человек умирает, – но, может быть, и отлежится. Ему тоже неприятно было думать, что больная, которую он лечит, умрет, и он утешал Володю:

– Пока нет ничего опасного.

Но по лицу его Володя видел, что он говорит не то, что думает.

Дни, которые тянулись в боязливом и томительном ожидании, и тревожные ночи

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
казались Володе случайным и нелепым кошмаром.

«Зачем, зачем? – спрашивал он себя. – Трудиться весь век, жить зачем-то без радости, без света, умереть в нищете. А еще несколько лет, – ведь она еще не старая, – я бы стал зарабатывать, – хоть бы покойная старость. Умереть, как умирает на мостовой кляча, заморенная работой!»

Дядины дочери, Катя и Люба, девушки по восемнадцатому и семнадцатому году, поселились у Неонины Петровны, ухаживали за ней и занялись хозяйством. В доме было мало денег. Девушки озабоченно шептались и боязливо вели счет, сколько стоят лекарства...

Суетливая забота, неумолимая нужда, беспощадная смерть...

Кате и Любе жаль было тетю. Они плакали и разговаривали о своих приметах, которые, по их глубокому убеждению, предвещали смерть. Володя слушал их с досадой, но сжимал его сердце их наивный предвещательный лепет.

Смерть стояла над постелью больной и обвеивала ее холодным равнодушием, тупую покорностью. Недоумевающее выражение пробегало иногда в глазах больной, – перед ней мелькали смутные, серые тени, на лицо садилась откуда-то тонкая и липкая паутина...

Было ясное зимнее утро. Володя уже несколько дней не ходил в гимназию. Неонила Петровна третьи сутки не приходила в себя. Она лежала неподвижно, с полуоткрытыми, тусклыми глазами, в углах которых накоплялась какая-то странная пена, – и дышала торопливо, жадно. В тихой комнате, где мерно колотился маятник, страшно было слушать это бурное дыхание. Через короткие промежутки быстрые выдыхания и выдыхания сменялись глубоким вздохом. Эти промежутки становились все короче: Володя следил за ними по часам, – они уменьшались с поразительной правильностью. Настанет минута, когда грудь устанет дышать, сердце – биться.

«В одиннадцать часов все кончится», – высчитал Володя и тупо ждал.

В начале двенадцатого быстрые дыхания прекратились. Долгий стонущий вздох... другой... третий... Лицо, уже давно начавшее становиться мертвенно-неподвижным, подернулось пепельной тусклостью, которая быстро набегала от висков к губам, – жили еще только губы... Но вот губы вытягиваются, – беспомощное, детское выражение ложится на старческое лицо, – губы вытягиваются, словно просят, – восковеют, смыкаются... Опять разошлись, – нижняя губа мертвенно отодвинулась вместе с челюстью, продержалась так с полсекунды, и снова, как-то механически и быстро, рот закрылся – движение ужасное и нелепое... Еще раз то же движение... и еще раз... повосковелые губы сомкнулись навеки.

С тупым ужасом и любопытством смотрел Володя на грубый процесс умирания...

Тихая суматоха вокруг... Чей-то плач... Слезы на глазах... Ее глаза еще не закрылись. Володя закрыл глаза матери и придерживает мягкие веки пальцами, пока веки не застывают, сомкнутые...

Потом – возня над трупом... Ясный, равнодушный, злой день... Белый снег подернут разноцветными звездами. Яркое, мертвое солнце... Труп на столе, – хоронить надо... Забота, проклятая забота о деньгах. Идти к людям, просить.

Труп на столе, жизнь все та же, неумолимая, чуждая...

Володя мрачно шагал по улицам и злобно смотрел на прохожих. Болезненная баба с ребенком встретилась ему.

«Умрешь, умрешь и ты! – со свирепой злобой подумал Володя. – Так повосковеют и твои бледные губы».

И вдруг он заметил, что мимовольно повторяет смыкание и размыкание рта – ужасное, механическое движение умирающей матери.

Потом – опять дома: монотонное чтение псалтыри, панихида, ладан, свечи, чужие люди, мертвый обряд.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Старик священник заметил мрачное молчание и убитый вид Володи и начал его утешать.

– Грех отчаиваться, – говорил он неторопливо. – Господь все к лучшему устраивает. Ваша матушка пожила, – ну, что ж делать, Господь знает, когда своевременно кого отозвать из этого мира в лучший.

– А зачем дети умирают? – внезапно спрашивает Володя.

– Бог знает, что делает, а мы должны покоряться Его святой воле. Безгрешному младенцу и умирать легко.

– А зачем мертвые дети рождаются?

– Грешно, грешно, – говорит священник. – В смирении переносите испытания. Помыслите, – что мы и что Он.

Вот наконец и похороны.

Шаня пришла с матерью. Она утешает Володю. Но ему становится еще грустнее: мать умерла, Шаня недоступна, – для кого, для чего жить.

– Как же ты, теперь, Володенька, будешь жить? – ласково спрашивает на поминках Марья Николаевна, – у дяди, что ли?

– У дяди, коли пустит, – уныло отвечает Володя.

– Что ты, что ты, – бормочет старик-дядя, – как же не пустить. Ты нас не стеснишь: ты, брат, молодец, ты сам деньгу зашибаешь.

IV

Так и прошла зима. Были последние дни февраля. Снег уже подтаивал и зернился мельчайшими льдинками.

Хмаровы со дня на день ждали перевода в Крутогорск, но еще Женя не говорил об этом Шане: он помнил, как Шаня опечалилась, когда он первый раз рассказал ей, что отец хлопочет о переводе, – как она жаловалась, что он ее забудет, и как он должен был утешать ее и уверять, что всегда будет помнить и приедет за ней, когда кончит учиться...

Шаня после обеда выбежала в сад. Еще издали увидела она Женю, подошла к калитке и поджидала его, весело улыбаясь. Женина походка была радостно оживленная. Его ликующая улыбка издали радовала Шаню, и девочка качалась на скрипучей калитке, отталкиваясь от земли ногой, уцепившись руками за перекладины калитки.

– Славная погода! – крикнул Женя, вбегая в калитку. – Шанечка, не шали, – ручки прищемись.

Он схватил ее за талию и стащил с калитки. Шаня смеялась, и глаза ее блестели: Женя редко бывал такой веселый и живой, такой радостный.

– А у нас радость, Шанечка, – оживленно начал он и вдруг смутился.

– Какая радость? – беззаботно спросила Шаня.

– То есть мои радуются, а для меня, Шанечка, большая печаль. Вот видишь, отец получил место в Крутогорске, и мы переезжаем скоро.

Шаня побледнела, и в расширившихся глазах ее блеснули слезы.

– Как же так! – пролепетала она, бессильно опускаясь на скамейку, запорошенную оледенелым снегом.

Женя смущенно стоял перед нею.

– Что ж делать, Шанечка... Мы еще поживем здесь немного.

– До лета? – оживилась было Шаня.

– Нет, Шанечка, – на будущей неделе едем. У нас все уж готово. Давно ждали.

– А как же твоя гимназия?

Женя весело засмеялся.

– Ну, в Крутогорске не одна гимназия.

– Ах, Женечка, я так и знала, что что-нибудь будет. Я нынче новый месяц с левой руки увидела. Вот так и вышло.

Женя видел, что Шане хочется плакать. Ему было жаль ее. Он сел рядом с ней, обнял ее и принялся утешать.

– Я тебе, Шанечка, писать буду, а ты мне. Потом я за тобой приеду и женюсь на тебе.

– Еще пойду ли я за тебя! – сердито ответила Шаня, отворачиваясь.

– А чего же ты плачешь, Шанечка?

– Кто плачет? Вовсе нет. Сор в глазах...

– А на щечках что?

– Ну, ладно, нечего смеяться. Так приедешь за мной?

– Приеду, Шанечка, приеду.

– Смотри, я буду ждать, все буду ждать, долго ждать, много лет, – говорит Шаня и плачет.

– Ну, ну, Шанечка, – и так всему свету известно, что у вас, женщин, глаза на мокром месте.

– Ничего, Женечка, было бы сердце на месте.

Жене становится грустно. Он нетерпеливо посматривает на плачущую Шаню и постукивает каблуками по снегу. Шане кажется, что Женя рассердился, и она старается перестать плакать. Кое-как это ей удается.

– Вот-то вы заживете теперь, – говорит она, завистливо вздыхая.

– Да, – говорит Женя, оживляясь, – отца скоро произведут в генералы и дадут ему ленту и звезду. У него уж есть Владимир на шее. Это очень большой орден. Кто его получит, тот делается дворянином.

– Ишь ты! – наивно восклицает Шаня.

– Но он и без того дворянин, – потомственный. И я дворянин. Мы – столбовые. Меня никто не имеет права бить.

– Ну, а если кто поколотит?

– Я того могу убить на месте, и мне за это ничего не будет.

– Врешь, поди?

– Я – дворянин, а дворяне не лгут, – обиженно говорит Женя. – У нас там будут свои лошади, мы будем давать балы. Это будет очень весело... Но потом я за тобой приеду, ты не беспокойся...

– Влюбишься в красавицу какую-нибудь.

– Ты, Шанька, самая первая красавица на свете, – восторженно восклицает Женя. – Вот погоди, как мы с тобой заживем. Я сделаю себе блестящую карьеру: у меня есть очень влиятельные родственники.

– Ты будешь, как твой отец.

– Что отец. Конечно, папа мог бы сделать себе карьеру, – но он был в молодости шестидесятником: у него были, знаешь, эти ложные взгляды, – тогда это было в моде. Ну, он и запустил некоторые связи. И представь себе, чуть даже бунтовщиком не сделался. А, каково! Это мой папаша-то, солидный человек, джентльмен, «не нынче завтра генерал», – и вдруг был почти бунтовщиком... Впрочем, такое было время.

– Вот ты бунтовать не будешь, – неопределенным тоном говорит Шаня.

– Конечно, не буду! – с презрительной самоуверенностью говорит Женя.

– По всему видно.

– Я – не дурак.

Холодные струйки враждебности пробежали между детьми.

V

– я тебе буду писать каждую неделю, – говорил Женя, прощаясь с Шаней у калитки и растроганно глядя на заплаканное Шанино лицо.

– Только ты мне на дом не пиши, – плачевно говорила Шаня, – а то мне будет таска с выволочкой, а я тебе адрес дам моей подруги одной, – ты на нее и пиши, на Дунечку Таурову.

– Ну, а ей ничего не будет такого? – осторожно осведомился Женя.

– Кому? дунечке-то? Нет, у нее маменька старенькая, и души в ней не чаёт. Ее некому тузить.

– Хорошо, Шанечка. А теперь пока до свиданья, пора мне домой.

Шаня схватила руками Женину шею и осыпала его долгими поцелуями. Ее слезы падали на Женины щеки.

– Ну, полно, Шанечка, – унимал он девочку. – Ведь мы еще будем видеться на этой неделе...

VI

Женя возвращался домой. Ему жаль было Шанечки. Но погода была такая хорошая, холодноватый воздух веял таким предвесенним задором, что ему становилось как-то против воли радостно. Печаль о предстоящей разлуке с Шанечкой перемешивалась представлением шумных улиц Крутогорска, больших домов и зеркальных стекол в магазинах.

Радостно представилась ему дорога на лошадях. Весело зазвенят колокольчики, бойко побегут лошадки. Ямщик будет протяжно покрикивать и помахивать кнутом. Кругом – поля под снегом, деревни, оснеженные леса. Веселые остановки на станциях. Так верст шестьдесят, – а там немного по железной дороге – и вот он, веселый Крутогорск.

А Шанечке грустно, – хорошая погода ее не утешает, веселое солнце дразнит ее, весенний снег ярко режет ей глаза, – и затуманивают их слезы.

В толпе

I

Древний и славный город Мстиславль справлял семисотлетие со дня своего основания.

Это был город богатый, – промышленный и торговый. В нем самом и в его окрестностях понастроено было много фабрик и заводов, из которых иные славились на всю Россию. Население быстро возрастало, особенно в последние годы, и достигло внушительной цифры. Стояло много войска. Много жило рабочих, торговцев и чиновников, студентов и литераторов.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Думцы решили праздновать на славу день основания города. Пригласили властей, позвали Париж и Лондон, а также Чухлому и Медынь, и еще некоторые города, но с очень строгим выбором.

– Знаете, чтобы не лезли всякие, – объяснял городской голова, молодой человек купеческого происхождения и европейского образования, известный тонкой галантностью своего обхождения.

Потом как-то вспомнили, что надо же позвать также Москву и Вену. И этим двум городам послали приглашения, но когда уже оставалось до праздника всего только две недели.

Литераторы и студенты упрекали голову в такой неуместной забывчивости. Голова смущенно оправдывался:

– Захлопотался. Совсем из ума вон. Так много дела, – вы не поверите. Редко и дома ночью: все комиссия за комиссией.

Москва не обиделась, – свои, мол, люди, сочтемся, – и поспешила прислать депутацию с адресом. Веселая же Вена ограничилась открыткой с поздравлением. Открытка была художественно разрисована: голый мальчик в цилиндре сидел верхом на бочке и держал в поднятой руке бокал с пивом. Пиво пышно пенилось, мальчик весело и плутовато улыбался. Он был круглолицый и румяный, и члены городской управы нашли, что улыбка его вполне прилична торжеству, – веселая, добронемецкая. И весь рисунок нашли очень сильным. Только не совсем согласны были в определении его стиля: одни говорили: «модерн», другие «рококо».

В городе немощном, пыльном, грязном и темном, – в городе, где было много уличных скверных мальчишек и мало школ, – в городе, где бедные женщины, случалось, рожали на улицах, – в городе, где ломали старые стены знаменитой в истории крепости, чтобы добыть кирпича на постройку новых домов, – в городе, где по ночам на людных улицах бушевали хулиганы, а на окраинах беспрепятственно обворовывались жилища обывателей под громкие звуки трещоток в руках дремотных ночных сторожей, – в этом полудиком городе для съехавшихся отовсюду почетных гостей и властей устраивались торжества и пиршества, никому не нужные, и щедро тратили на эту пустую и глупую затею деньги, которых не хватало на школы и больницы.

И для простого народа, – нельзя же и без него обойтись, – готовились увеселения на городском выгоне, в местности, именуемой почему-то Опалихой. Строились балаганы, – один для народной драмы, другой для феерии, третий для цирка, – ставились американские горы, качели, мачты для лазания на приз. Скоморошьему деду купили новую бороду, кудельную, и обошлась она городу дороже шелковой, – уж очень художественно сделана.

Для раздачи народу изготовили подарки. Предполагали давать каждому кружку с городским гербом и узелок: платок с видом Мстиславля, и в нем пряники да орехи. И таких кружек да платков с пряниками и орехами наготовили много тысяч. Заготовляли заблаговременно, – а потому пряники стали ко дню праздника черствые, а орехи – гнилые.

За неделю до дня, назначенного для народного праздника, на Опалихе поставили столы, и пивные буфеты, и две эстрады, – платную для публики и другую для почетных приглашенных.

Между буфетами оставили узкие проходы, чтобы за подарками к столам подходили по очереди и по одному человеку. Так придумал голова, для вящего порядка. Он был умный и рассудительный молодой человек.

Накануне праздника привезли подарки, сложили их в сарай и заперли.

Народ, слышав про увеселения и про подарки, толпами шел со всех сторон к древнему и славному городу Мстиславлю, крестясь издали на золотые маковки его многочисленных церквей. Говорили, что подарки-то подарками, а что, кроме того, будут еще на Опалихе бить фонтаны из водки и пить водки можно будет сколько хочешь.

– Хоть опейся.

Многие приходили издалеча. И заранее. Уже накануне праздника на городских улицах шлялось много дальних пришельцев. Больше всего было крестьян, много было и фабричных рабочих. Были и мещане из соседних городов. Приходили, а кто и приезжал.

И вот уже несколько дней продолжалось празднование в городе. Веяли флаги на домах, висели гирлянды из зелени. Служились молебствия. Сделали парад войскам. Потом смотр пожарной команде. На торговой площади был базар, веселый и шумный.

Наехало много знатных посетителей, своих и заграничных, лиц чиновных и сановных, и много любопытных туристов. Местные жители толпами выходили на улицы и глазели на приезжих гостей. Знатные иностранцы были предметом особого внимания, не очень, впрочем, дружелюбного. Старались и нажиться: квартиры, пища, товары, все вздорожало.

Настал канун народного праздника. Город, как и все эти дни, горел праздничными огнями. В городском театре был назначен парадный спектакль, а после него – большой бал в губернаторском доме.

А толпа валила на Опалиху. И надзора за ней не было. Раздача подарков назначена была с десяти часов утра, и городское начальство было уверено, что раньше раннего утра никто не пойдет на Опалиху. Но раньше раннего утра была ночь, и еще раньше был вечер. И с вечера стала толпа собираться на Опалиху, так что к полуночи перед сараями, отделявшими площадь народного гулянья от городского выгона, стало тесно, шумно и тревожно.

Говорили, что собралось несколько сот тысяч. Даже полмиллиона.

II

На Никольской площади у самого обрыва стоял домик Удоевых. Над обрывом разбит был сад, и из него открывался великолепный вид на нижние части города, Заречье и Торговый конец, и на окрестности.

С высоты все очищалось и казалось маленьким, красивым и нарядным. Мелкая, грязная Сафат-река отсюда являлась узкой лентой переменной окраски. Дома и торговые ряды стояли игрушечные, экипажи и люди двигались мирно, тихо, бесшумно и бесцельно, пыль вздымалась легкая, еле видная, и тяжкие ломовые грохоты доносились наверх едва слышной музыкой подземелья.

Против дома Удоевых, через площадь – казначейство, окрашенное охрой, унылое двухэтажное здание. Там служил глава семьи, статский советник Матвей Федорович Удоев.

Забор около дома Удоевых был серенький и прочный, беседка в саду стояла такая милая и уютная, сирень благоухала, плодовые деревья и ягодные кусты обещали что-то радостное и сладостное, – хозяйственно, основательно устроилась семья старого и почтенного чиновника.

Дети Удоева, пятнадцатилетний гимназист Леша и его две сестры, Надя и Катя, девицы двадцати и восемнадцати лет, тоже собрались идти на Опалиху, на праздник. Оттого они были так веселы и так радостно волновались.

Леша был белый, смешливый и прилежный мальчик. Особых, ярких примет он не имел: учителя в гимназии часто смешивали его с другим, тоже белолицым и скромным гимназистом. Девушки тоже были скромные, веселые и добрые. Старшая, Надя, была поживее, непоседлива и порой даже шаловлива. Младшая, Катя, была совсем тихоня, любила помолиться, особенно в монастыре, и очень легко переходила от смеха к слезам и от плача к смеху, – и обидеть ее было легко, и утешить, и насмешить – не трудно.

И мальчику, и девушкам очень хотелось достать по кружке. Они еще заранее выпросились у родителей – идти на Опалиху.

Отпускали их на Опалиху неохотно. Мать ворчала. Отец молчал. Ему было все равно. Впрочем, тоже не нравилось.

Матвей Федорович Удоев был молчаливый, высокий, рябой и равнодушный человек. Пил

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
водку, но в умеренном количестве, и почти никогда не спорил с домашними.
Домашняя жизнь шла мимо него. Как и вся жизнь...

Проходила мимо, как облака, пролетающие и тающие на пронизанном солнечными
светами небе... Мимо, как неутомимо шагающий странник, мимо ненужных ему зданий...
Как ветер, веющий из страны далекой... Мимо, мимо, все мимо...

III

Леша и обе сестры стояли у ворот и смотрели на прохожих. Было шумно и людно. Шли
люди, нарядившиеся, и видно, что чужие. Шли больше в одну сторону, – к Опалихе.
Гул среди толпы наводил на детей смутную тревогу.

Подшли соседи, Шуткины: молодой человек, мальчик и две девушки. Перебросились
несколькими незначительными словами, как часто встречающиеся и привыкшие друг к
другу люди.

– Идете? – спросил старший Шуткин.

– Идем, утром! – ответил ему Леша.

Надя и Катя улыбнулись, радостно и слегка смущенно. Шуткины чему-то засмеялись.
Переглянулись. Пошли к себе домой.

– Они хотят раньше нас идти, – догадалась Надя.

– Ну и пусть, – сказала Катя и опечалилась.

Дом Шуткиных стоял рядом с усадьбой Удоевых. Выделялся своим неряшливым и ветхим
видом.

Молодые Шуткины были все порядочные сорванцы и шалопаи. Пускались на дерзкие
шалости. Подбивали порой и детей Удоевых на шалости, и нередко довольно крупные.

Шуткины были смуглые, черноволосые, как цыганы. Старший брат служил
письмоводителем у мирового судьи. Лихо играл на балалайке. Сестры, Елена и
Наталья, любили петь и плясать. Делали это с большим одушевлением. Младший брат
Костя был отчаянный озорник. Учился в городском училище. Не раз грозили выгнать
его оттуда. Пока еще держался кое-как.

Удоевы вернулись домой. Было неловкое и тревожное настроение. Не сиделось на
месте.

Уже решили идти рано утром. Но сборы начались с раннего вечера. И чем ниже
клонилось усталое солнце, тем сильнее нарастало беспокойство и нетерпение детей.
Все выбегали к воротам, посмотреть, послушать, поболтать с соседями, с
прохожими.

Больше всех беспокоилась Надя. Она очень боялась, что опоздают. Досадливо
говорила брату и сестре:

– Вы проспите, непременно проспите, уж я это предчувствую.

И нервно поламывала тонкие, хрупкие пальцы, что у нее всегда служило признаком
сильной взволнованности.

В ответ ей Катя спокойно улыбалась и уверенно говорила:

– Ничего, не опоздаем.

– Надо же и спать, – лениво сказал Леша.

И вдруг ему стало лень, и он подумал, что неприятно и ни к чему рано вставать, и
не захотелось идти. Надя быстро и горячо возражала:

– Вот еще! Спать. Ничего не надо спать. Я совсем сегодня не буду спать.

– И ужинать не будешь? – поддразнивающим голосом спрашивал Леша.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
И вдруг всем им стало казаться, что нарочно долго не дают ужина, и
забеспокоились. Часто смотрели на часы. Приставали к отцу.

Надя ворчала:

– Что это, сегодня, как нарочно, часы у нас отстают. Ужинать давно пора. Этак немудрено и проспать завтра, если за полночь ужинать не дадут.

Отец угрюмо говорил:

– Ну, чего пристаёте? То один, то другой.

И смотрел на детей неразличающим взором, словно он видел в них только то, что их трое. Равнодушно вынимал часы и показывал. Было еще совсем рано. Никогда так рано не собирались ужинать.

Между тем в дом к Удоевым с разных сторон приходили вести о том, что на Опалиху уже собираются, – идут толпами, – что там уже толпа, – целый лагерь, с ночлегами и чуть ли даже не с палатками.

И уже начали догадываться дети, что утром поздно будет идти на Опалиху, – уже тогда не добраться будет. И от этого настроение в доме Удоевых делалось тревожным не в меру.

Мимо дома Удоевых шли. Все больше и больше народа проходило. В толпе были и плохо одетые. Было много мальчишек. Было шумно, весело и празднично.

IV

У ворот дома Удоевых остановилось несколько человек. Слышался оживленный говор, спор, смех.

Леша и сестры опять выбежали за ворота.

Стояли кучкой несколько мужиков и баб. С ними несколько мещан из здешних. Разговаривали громко, недружелюбным тоном, словно переругивались.

Пожилая бойкая мещанка с остреньким и хитрым лицом, одетая в ситцевое платье, яркое от праздничной нарядности и шумящее от накрахмаленной новизны, с розовым платочком на масляно причесанной голове, говорила высокому, степенному крестьянину:

– Да вы бы на постоялом остановились.

Старик крестьянин отвечал неторопливо и вдумчиво, словно подыскивая точные слова для выражения значительной и глубокой мысли:

– Дерут больно ваши дворники. Дерут, слышь. Никак, значит, ты с ними не сообразишься. Обрадовались. Креста на вороту нет у людей. Дорвались, слышь, до добычи. Дерут больно. Разбогатеть, знатко, охота.

Добродушный паренек, белолицый и светлоголовый, с вечной улыбкой на пухлых губах и с кроткими ясно-голубыми глазами, сказал:

– Есть добрые люди, что и даром пускают.

На него все посмотрели насмешливо. Заговорили:

– Есть, да не здесь.

– Поищи-ка таких, да и нам скажи.

Смеялись, почему-то злорадно, хотя, по-видимому, для злорадства не было никакого основания. Паренек ухмылялся, поглядывал вокруг невинными глазами и уверял:

– А меня пустили. Правда. Одна тут пустила.

– Гладок ты больно, – сказал рыжий и корявый мужик.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Подошли две сестры Шуткины, Елена и Наталья, во всем похожие очень одна на другую, так что странно было смотреть, что одна из них рыжая, а другая черноволосая, и их старший брат. Слушали и лукаво улыбались, и почему-то казалось сегодня, что улыбки у них скверные и сами они нечистые.

Подмигивая сестрам Удоевым, старший Шуткин сказал:

– Рано вставать будете завтра?

– Да, – живо заговорил Леша, – встанем пораньше, до восхода, раньше всех придем.

И вдруг вспомнил, что никак невозможно прийти раньше всех, и стало досадно.

– Ну да, встанете, где вам! – сказал Шуткин.

Сестры его смеялись нагло и лукаво. И непонятно было, зачем и чему они смеются. Старший Шуткин сказал:

– Что рано ходить! Это выйдет, как мы в прошлом году в монастырь ходили к заутрене.

– Вот то была потеха! – с хохотом крикнула Елена.

И видно было, что и ей, и ее рыжей сестре все равно было, над чем смеяться, и вовсе не казалось странным и непристойным издеваться над собой же.

Шуткин рассказывал:

– Это еще в прошлом году было. Легли мы рано, без огня. Выспались, встали. Часов у нас в те времена не было, они в ученье залежались по той простой причине, что у нас тогда было превышение расходов над доходами, и была необходимость прибегнуть к выпуску облигаций внешнего двенадцатипроцентного займа. Ну вот, мы и пошли. Пошли, пошли да и пришли. Видим, еще заперто все. Думаем, еще рано пришли. Сели мы на скамейку у врат обители святой. Сторож к нам подошел, спрашивает этак с довольно натуральным удивлением – Вы что тут расселись? Ай дома, говорит, скучно стало? – А мы говорим ему очень даже непринужденно, – к заутрени, говорим, пришли; монахи-то ваши, говорим, разоспались сегодня. А он нам: эк вас, говорит, принесло ни свет ни заря! – да ведь ещё только одиннадцать часов недавно било. Неужели, говорит, дожидаться будете? Пошли бы, говорит, домой. Ну, мы послушались разумного совета, пошли себе к дому. Было смеху.

И Шуткины, и Удоевы смеялись.

В это время прибежал, запыхавшийся и потный, младший Шуткин, Костя. Радостно кричал:

– Я уже слетал на Опалиху.

– Ну что? Как? – спрашивали его и свои и Удоевы.

Костя с радостным хохотом говорил:

– Мужичья привалило видимо-невидимо. Все поле чисто запрудили.

– Вот чудаки-то! – с досадливым смехом сказал Леша. – Ведь в десять часов раздача начнется, а они с вечера пошли.

Старший Шуткин засмеялся, подмигнул сестрам.

– Кто вам это сказал? – крикнул он. – Начало в два часа будет, чтобы заморские гости успели посмотреть. Они рано не привыкли ложиться. И встанут поздно.

– Нет, это неправда, в десять начало, – горячо возражал Леша.

– Нет, в два, в два, – в голос закричали все Шуткины.

И по их наглому смеху и переглядыванию сразу было видно, что они лгут.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

– Ну, я сейчас верно узнаю, – сказал Леша.

Сбегал к секретарю городской управы, – его дом был недалеко. Вернулся ликующий. Кричал издали:

– В десять.

Шуткины посмеивались и уже не спорили.

– Да это вы нарочно придумали, – сказал Леша, – чтобы уйти пораньше, без нас. Ишь вы какие!

Оживленно пробежал гимназист Пахомов, тонкий и вертлявый мальчик. Наскоро поздоровался с Удоевыми. Шуткины смотрели на него недружелюбно.

– Ну что, идете? – спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал: – Мы с вечера. Многие с вечера идут.

Торопливо простился. Глянул на Шуткиных, хотел было поклониться, но передумал и убежал. Шуткины злобно смотрели за ним. Смеялись. Удоевым неприятно странен казался их смех, – к чему он?

– Чистоплюйчик! – презрительно сказал Костя.

Елена злобно и громко сказала:

– Хвастунишка. Где ему! Врет.

Вечер был такой тихий и прекрасный, что ненужно грубые слова Шуткиных звучали особенно режущим разладом.

Солнце только что зашло. На облаках еще отражался пламенный отблеск его прощальных, его багряно-мертвых лучей.

Такой прекрасный, такой мирный был вечер... А жгучий яд мертвого Змия еще струился над землей.

У

Удоевы вернулись домой. Было жутко и неловко, и не знали, что с собой делать. Из-за всякого пустяка вспыхивали ссоры и споры. Непоседливость обуяла всех.

И Леша сделался вдруг беспокойным и тревожным, как Надя.

– Придем к шапочному разбору, – громко и досадливо сказал он.

Как часто бывает, эти незначительные слова решили дело. Надя сказала:

– Так пойдемте лучше с вечера.

И с ней все согласились и вдруг зарадовались.

Весь вдруг покраснев, Леша кричал:

– Конечно, уж если идти, так теперь.

Побежали все трое к отцу, – спрашиваться.

– Мы передумали, пойдем с вечера! – кричала Надя, вертась перед отцом.

Отец угрюмо молчал.

– Ночь-то одну не поспать, – не беда, – говорил Леша, словно стараясь убедить в чем-то отца.

Но отец продолжал молчать, и лицо его было по-прежнему неподвижно-угрюмо.

Дети оставили его. Побежали к матери. Мать заворчала.

– Папа позволил, – кричал Леша.

И сестры смеялись, и болтали весело, звонко.

С радостным визгом бегали все трое по дому, по саду. Торопили ужин.

Вспомнили о Шуткиных. Почему-то досадно было воспоминание о них. Леша сказал сестрам:

– Только Шуткиным ни гугу.

Сестры согласились.

– Само собой, – сказала Надя, – ну их!

Катя нахмурилась, протянула:

– Такие противные!

И сейчас опять радостно засмеялась.

За ужином дети ели торопливо, и не хотелось есть, и досадно было, что старики так копаются, как будто и нет ничего особенного.

Когда уже кончали ужин, отец вдруг уставился на детей и долго смотрел на них, так долго, что они присмирели под его угрюмо-равнодушным взглядом, и наконец сказал:

– С пьяными толкаться, – большое удовольствие.

Надя быстро покраснела и принялась уверять:

– Да нет пьяных. Никаких нигде нет пьяных. Право, даже странно, а только около нашего дома сегодня весь день совсем не видно было пьяных. Так что даже удивительно.

Катя весело засмеялась и сказала:

– Только о подарках и думают, и пить не хотят. Не до того.

Наконец кончился ужин.

Побежали – одеваться. Девицы хотели было принарядиться по-праздничному. Но мать решительно восстала.

– Куда? Зачем? С мужиками толкаться? – сердито говорила она.

И видно было по всей ее внезапно насторожившейся фигуре и по ее серому, незначительному лицу, что она ни за что не допустит порчи праздничного платья.

Пришлось девицам надеть наряд попроще.

Наконец выбрались из дому. Побежали по крутому съезду к реке. И вдруг, едва спустились, увидели Шуткиных.

Пришлось идти вместе. Было досадно.

Досадно было и Шуткиным. Ни те, ни другие не придут раньше. Потерян случай похвастаться, подразнить.

Шуткины придумывали разные насмешки над Удоевыми. Несколько раз по дороге чуть не поссорились.

Вечер был как день, оживленный и шумный.

Над городом тихо мерцали звезды, как всегда, такие далекие, такие незаметные для рассеянного взгляда, и такие близкие, когда взглядишься в их голубые околицы.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Ясное бледное небо быстро темнело, и радостно было смотреть на неизменно совершающееся в нем таинство открывающей далекие миры ночи.

В монастыре звонили, – отходила всенощная. Светлые и печальные звуки медленно разливались по земле. Слушая их, хотелось петь, и плакать, и идти куда-то.

И небо заслушалось, заслушалось медного светлого плача, – нежное умиленное небо. Заслушались, тая, и тихие тучки, заслушались медного гулко плача, – тихие, легкие тучки.

И воздух струился разнеженно-тепл, как от множества радостных дыханий.

Приникла и к детям умиленная нежность высокого неба и тихо тающих тучек. И вдруг все окрест, и колокольный плач, и небо, и люди, – на миг все затлелось и стало музыкой.

Все стало музыкой на миг, – но отгорел миг, и стали снова предметы и обманы предметного мира.

Дети торопились из города, туда, на долину Опалихи.

А в городе людно было и шумно, и казалось, что весело. Над домами веяли флаги. На улицах горели праздничные огни, – и от этого кое-где пахло противным салом.

Толпы ходили по улицам, по съездам, по набережной реки Сафать. Шныряли и смеялись в толпе дети. И все было звонко и весело, как в сказке и как не бывает в жизни, обычной и серой. И от этого вся насквозь, закутанная общим гулом, людская молвь казалась звучащей и вдруг сбыточной.

Проезжали экипажи с почетными гостями, и улыбались толпе любезные лица важных господ и господж.

Слышался из экипажей тихий, невнятный, чуждый говор и легкий смех.

Враждебными глазами глядели на проезжающих богатых господ Шуткины. И злые и глупые у них рождались мысли.

И уже когда выходили из города, старший Шуткин, глупо скаля зубы, сказал:

– Ловко бы теперь подпалить город. Иметь свою приятность, я вам доложу.

Его сестры и Костя захохотали.

Катя дрогнула, передернула плечиками, воскликнула тревожно:

– Что вы, как можно! Какие вы страхи говорите!

– То-то была бы суматоха, – восхищался Костя, прыгая и визжа.

– Да ведь и вы погорели бы, – с удивлением сказала Надя, – что ж вам радоваться!

– Ну вот, – возразила Наталья, – чему у нас гореть-то! Не жалко.

Надя посмотрела на нее. В слабом отблеске дымных праздничных плошек ее веснушчатое лицо и рыжие волосы являлись пламенеющими, и оттого, что ее ноздри трепетали, казалось, что по лицу бежит огонь.

VI

До Опалихи добежали быстро, подгоняемые лихорадочно-радостным волнением.

Еще издали доносился смутный и грозный гул людского множества. Наводил жуткий и сладкий страх. В набегающей с порывами ночного ветра тьме они бежали. С ними, то перегоняя, то отставая, шли, торопились люди. Большие и малые. Мужчины, женщины, дети и старики. Больше молодежь. И все были так же взволнованы, и голоса звучали неровно, и смех поднимался и вдруг затихал.

За поворотом дороги вся долина Опалихи открылась разом темная, жутко-шумная, тревожная.

Кое-где горели костры, на окраине Опалихи, – и от этого поле казалось еще более темным.

Видны были огни костров и дальше. Но видно было, как они один за другим дымно гаснут вдали дымно-шумного поля. Должно быть, толпа гасила их ногами, топтала грубыми сапогами их внезапные, пламенно-стремящиеся души.

И еще более жуткий, и еще более сладкий страх охватил Удоевых, затрепетал за их дрогнувшими плечами. Но они храбрились.

Шуткиных радовало, что будет давка, беспорядок, смятение и потом можно будет долго рассказывать любопытные и значительные подробности разных происшествий.

Старший Шуткин смотрел на шумное темное поле, глупо ухмылялся и говорил с непонятной радостью:

– Беспременно кого-нибудь из слабеньких раздавят. Вот уж вы увидите.

Но не смели Удоевы поверить в близость несчастья и смерти. Это поле, где шумное множество, – и смерть. Не может быть.

– Да уж не без того, что раздавят, – странно-незнакомым голосом сказала одна из сестер Шуткиных.

И кто-то засмеялся грубо и невесело темным в темноте смехом.

– Ну да! – равнодушно сказала Катя.

Стало на минуту скучно. Оттого, что темно. От мгновенных и неверных озарений костров. И стали смотреть, и слушать, и пошли вперед, куда-нибудь.

По озаренным кострами лицам, – по большей части очень молодым, – по беззаботным голосам и смеху казалось, что всем очень весело.

По всему полю ходили, стояли, сидели шумные множества людей.

Втягиваясь все более в это смутное многолюдство, Удоевы заразились опять веселостью и бодростью толпы, оставившей привычные людские кровы и стены.

Стало весело. Слишком весело.

Шуткины отошли куда-то и уже не встречались больше. Но зато Удоевы встречали других знакомых. Многих видели. Перекидывались веселыми разговорами. Сходились и опять расходились в толпе.

Шли вперед, а может быть, в сторону, и поле казалось бесконечным. И казалось так занимательно, что попадают все иные лица.

– Да тут превесело. И не заметишь, как ночь пройдет, – говорила Надя, нервно позевывая и поеживаясь тоненькими плечиками.

И долго шли, останавливаясь, опять шли, путались среди костров, заслушивались чужих разговоров, сами разговаривали совсем с чужими людьми.

Сначала казалось, что идут к какой-то цели, – все ближе к ней, и все было определено и связно, хотя и тонуло в сладкой жуткости многолюдства.

Потом вдруг все стало отрывочным, потеряло связность, и какие-то клочки ненужных и странных впечатлений зароились вокруг...

VII

Все стало отрывочно и несвязно, и казалось, что предметы, нелепые и ненужные, возникали из ничего. Из глупой и враждебной тьмы возникало неожиданно нелепое.

Посреди поля была когда-то для чего-то вырыта канава. Оставалась она и теперь, ненужная, безопасная, поросшая черной в темноте, колючей травой, – и казалась почему-то страшной и странно-значительной.

Дети подошли к ее краю. Два телеграфиста сидели, свесив ноги в канаву, и разговаривали. Вспоминали знакомых барышень и почему-то произносили, с большим удовольствием, напечатанные слова.

Удоевы пошли по краю канавы. Увидели мост через нее, дощатый, с корявыми перилами. Пошли по мосту. Перила казались непрочными, неверными.

Леша сказал опасливо:

– Сюда столкнут, ноги поломаешь.

– А мы подальше уйдем, – сказала Надя.

В темноте голос ее звучал неуверенно и робко. Странно было, что нельзя видеть, как движутся говорящие губы.

И опять шли дальше, среди гулко-го множества, переходя из озаренных кострами кругов в кромешную тьму, – и опять поле казалось бесконечным.

– Ну и куда ты идешь? – говорил убеждающим голосом один пьяненький оборвыш другому. – Задавят тебя, как клопа постельного.

– Пусть давят, – отвечал его товарищ, – жизни мне разве жалко? Задавят, плакать обо мне будет некому.

Увидели колодец. Он был прикрыт полусгнившими досками. Слабо удивились почему-то.

Пьяненький мужичок, мотая взъерошенной длинной головой, заглядывал в колодец и тянул:

– И-их.

Отбегал от колодца, вскрикивал:

– Маланья!

И опять возвращался к ветхому срубам мелкими падающими шагами пьяного человека.

Поглядели. Посмеялись. Прошли. Долго еще слышали его пьяные вскрики.

– Я нож припас, – хриплым голосом сказал длинный и тощий оборванец.

Его товарищ, такой же оборванный и почти такой же длинный, ответил сладким тенорком:

– И я.

– На всяк случай, – опять послышался хрипый голос первого.

И слышно было, как хихикает другой.

В зыбкой темноте, в нервно-трепетном озарении костров, вдыхая сладковатый дым сырого дерева, шли дети куда-то, Леша вперед, за ним обе сестры.

Притворялись, что не страшно.

Опять поле казалось бесконечным, опять путали костры, а по усталости в ногах думали, что идут уже давно.

– Колесим вокруг да около, – сказал Леша.

И этими словами сказалась общая мысль. Кате стало грустно, а Надя притворно весело сказала:

– Ничего, дойдем, куда надо.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Вдруг Леша упал. Ноги мелькнули вверх, головы не видно. Сестры бросились к нему. Помогли выбраться, – оказалось, что он попал руками и головой в какую-то неожиданную яму.

– Надо подальше от этого места, здесь опасно, – сказала Надя.

Но и потом не раз спотыкались на неровностях почвы.

VIII

– И баре туда же, – слышался возле Удоевых гнусный тенорок.

Не видно было, кто говорит и кто смеется, сочувствуя злым словам.

И поняли дети, что здесь вся толпа насквозь была враждебная, чужая, – непонятная и непонимающая. И там, где горели костры, были видны лица, которые сердито хмурились, глядя на гимназиста и его сестер.

Эти враждебные взоры смущали детей. Непонятно было, за что вражда? Откуда она выросла?

Какие-то чужие люди хмуро, неприветливо смотрели на проходящих мимо детей.

Порой слышались циничные шутки. И так как это было среди громадной толпы и никто не думал заступиться, то детям становилось страшно.

Пьяный мастеровой встал от костра, подошел к детям.

– Мамзель! – воскликнул он. – Со свиданием имею честь поздравить. Очень приятно. И всякое можем удовольствие доставить вам. Желаем поцеловаться.

Он покачнулся. Снял картуз. Облапил Катю. Поцеловал прямо в губы. Грохочущий хохот раздался в толпе. Катя заплакала.

Леша крикнул что-то, бросился на пьяного и оттолкнул его.

Пьяный свирепо заворчал:

– По какому праву? Толкаться? А ежели я желаю поцеловать? Какое в этом есть неудовольствие?

Сестры схватили Лешу за руки. Быстро увлекли в темноту.

Были очень испуганы. Обида жгла томительно.

Захотелось уйти из этого темного и нечистого места. Но не могли найти дорогу. Опять огни костров путали, ослепляли глаза, являли мрак чернее мрака и делали все непонятым и разорванным.

Скоро костры стали гаснуть. И стало равно темно в воздухе, – и черная ночь приникла к гулкому полю, и отяжелела над его шумами и голосами. Оттого, что не спали и были в толпе, казалось, что эта ночь – значительная, единственная и последняя.

IX

Еще не долго побыли, и уже стало противно, тошно, страшно.

В темноте творилась для чего-то ненужная, неуместная и потому поганая жизнь. Беспокровные люди, далекие от своих уютов, опьянялись диким воздухом кромешной ночи.

Они принесли с собой скверную водку и тяжелое пиво, и пили всю ночь, и горланили хрипло-пьяными голосами. Ели вонючие снеди. Пели непристойные песни. Плясали бесстыдно. Хохотали. То там, то здесь слышалась нелепая мышиная возня. Гармоника гнусно визжала.

Пахло везде скверно, и все было противно, темно и страшно.

И уже повсюду голоса раздавались хмельные и хриплые.

Кое-где обнимались мужчины с женщинами. Под одним кустом торчали две пары ног, и слышался из-под куста прерывистый, противный визг удовлетворяемой страсти.

Кое-где, на немногих свободных местах собирались кружки. Внутри что-то делалось.

Какие-то противные, грязные мальчишки откалывали «казачка».

В другом кружке пьяная безногая баба неистово плясала и бесстыдно махала юбкой, грязной и рваной. Потом запела отвратительным, гнусным голосом. Слова ее песни были так же бесстыдны, как и ее страшное лицо, как и ее ужасная пляска.

– Зачем у тебя нож? – строго спрашивал кого-то городской.

– Человек я рабочий, – слышался наглый голос, – струмент захватил по нечаянности. Могу и пырнуть.

Хохот раздался.

И вот, в этой противной толпе, брошенные в гнусный разгул не в пору разбуженной жизни, шли дети и терялись в многолюдстве. Поле оказалось бесконечным, потому что они кружили на небольшом пространстве.

Проходить становилось все труднее, – все теснее делалось вокруг.

Казалось, что встанут и встанут окрест неведомо откуда взявшиеся люди.

И вдруг вокруг Удоевых сдвинулась толпа. Стало тесно. И сразу показалось, что по земле стелется и ползет к лицу тяжкая духота.

А с темного неба темная и странная струилась прохлада. Хотелось глядеть вверх, на бездонное небо, на прохладные звезды.

Леша привалился к Надиному плечу. Мгновенный сон охватил его...

...Летит в синем небе, легкий, как вольная птица...

Толкнул кто-то. Леша проснулся. Сонным голосом сказал:

– А я чуть не заснул. Что-то даже видел во сне.

– Уж ты не спи, – озабоченно сказала Надя, – еще растеряемся в толпе.

– А я бы заснула, – тихо и жалобно сказала Катя.

– Право, как бы не растеряться, – говорила Надя.

Старалась подбодриться. Заговорила живо:

– Лешу поставим в середине.

– Ну да, – сказал Леша вяло.

Он был бледен и странно скучен.

Но сестры поставили его между собой. Развлекались тем, что оберегали его от толчков. Пока толпа не нарушила их порядка, смятенно толкая их во все стороны.

– Мы пришли, теперь бы и раздавать, – слышался странно веселый и равнодушный голос.

И кто-то отвечал:

– Погоди, – уже утром господа припожалуют, которые к раздаче приставлены.

Х

Было тесно и душно, хотелось выбраться из толпы, на простор, вздохнуть всей грудью.

Но не могли выбраться. Запутались в толпе, темной и безликой, – как челнок запутался в тростнике.

Уже нельзя было выбирать дорогу, повернуть по воле туда или сюда. Приходилось влечься вместе с толпой, – и тяжки, и медленны были движения толпы.

Удоевы медленно двигались куда-то. Думали, что идут вперед, потому что все шли туда же. Но потом вдруг толпа тяжело и медленно пятилась. Или медленно влеклась в сторону. И тогда уже совсем непонятно стало, куда надо идти, где цель и где выход.

Завидели близко, немного в стороне, темные стены. К ним почему-то захотелось выбраться. Что-то знакомое, домашнее почудилось в них.

Ничего не сказали друг другу, но стали протискиваться к этим темным стенам.

И скоро стояли около одного из народных театров.

Казалось, что около стены есть что-то знакомое, защитное, – уют какой-то, – и потому не так было страшно.

Темный верх стены подымался, закрывал половину неба, и от этого терялось жуткое впечатление стихийно-безбрежной толпы.

Дети стояли, прижавшись к стене. Робко смотрели на серые, тусклые облики людей, которые колыхались так близко. И жарко было от дыханий близкого множества.

А с неба холодная проникала порывами прохлада, и казалось, что душный земной воздух борется с небесной прохладой.

– Идти бы лучше домой, – жалобно сказала Катя. – Все равно не протолкаться.

– Ничего, подождем, – ответил Леша, стараясь казаться бодрым и веселым.

В это время тяжелое по толпе прошло движение, – точно протискивался кто-то к стене, прямо на детей. Их прижали к стене, – и совсем стало душно и тяжело дышать.

Потом толпа с усилием раздалась, и казалось, что стена дрожит и колеблется, – и из толпы словно вынырнули два очень бледные студента с ношей.

Несли девочку, и она казалась неживой. Бледные руки ее свешивались, как мертвые, и на лице с тесно сжатыми губами и с закрытыми глазами лежала тусклая синева.

В толпе послышался ропщущий говор:

– Слабенькая, а лезет.

– Чего родители смотрят, – пустили какую!

В смущенном переговаривании толпы слышалось желание оправдать что-то недолжное, – и казалось, что эти люди на миг поняли, что не надо им быть здесь и теснить друг друга.

ХІ

Опять грубо и тяжело задвигалась толпа. Тяжелые толчки мучительно отдавались в теле. Грубые сапоги наступали на легко обутые детские ноги.

Не устоять было у стены. Оттолкали, оттерли. Сдавили тесным кольцом. Опять стало страшно в душном многолюдстве.

Головы детей с усилием подымались вверх, и уста их жадно ловили перемежающиеся струи небесной прохлады, меж тем как груди их задыхались в глухой и непонятной давке.

Не то двигались куда-то, не то стояли. И уже стало непонятно, много ли прошло времени.

Мучительная жажда простора томила детей.

И жажда.

Она медленно, уже давно, подкрадывалась. Вдруг сказала жалкими словами.

– Пить хочется, – сказал Леша.

И говоря это, он почувствовал, что уже губы его давно сухи и во рту неловко и томительно от сухости.

– Да и мне тоже, – сказала Катя, с усилием двигая запекшимися и побледневшими губами.

Надя молчала. Но по ее побледневшему и вдруг осунувшемуся лицу и по ее сухо горящим глазам было видно, что и ее мучит жажда.

Пить. Хоть глоточек бы воды. Вода, святая, милая, прохладная, свежая.

Но негде было взять воды.

И прохлада с далекого неба становилась все мгновеннее, зыбкая, неверная, – пахнет в жадно раскрытые рты и сгорает.

Надя икнула. Легонько дрогнула. Опять икнула, и опять, и опять.

Не удержаться. Такая мучительная в тесноте и духоте икота!

Леша испуганно посмотрел на Надю. Какая она бледная!

– Господи, – сказала Надя, икая. – Какая мука! Охота была идти.

Катя заплакала тихонько. Быстрые мелкие слезинки бегут одна за другой, – и не унять слез, и не отереть, – рук не поднять, так сдавили.

– Что вы толкаетесь! – пищал где-то близко тоненький голосок. – Вы меня давите.

Хриплый, пьяный бас отвечал злобно:

– Что? Я тебя давлю? А тебе такая церемония не нравится? Ну, ты меня дави. Тут все равны, черт тебя дери.

– Ай, ай, давят, – завизжал опять тот же тоненький голосок.

– Не визжи, сопляк, – хрипел свирепый бас. – Уже придешь домой, аль приволокут. А и быть тебе, щенок, без кишек.

Через короткое мгновение тонкий и резкий пронесся визг, без слов, жалобный и жалкий. И в ответ ему свирепый скрип:

– Не визжи.

Потом задавленный тонкий вопль.

Кто-то вскрикнул:

– Младенца задавили! Косточки хрустят. Царица небесная!

– Косточки, косточки хрустнули! – завизжала баба.

Голос ее слышался близко, но ее за толпой не было видно.

И потом показалось, что она кричит где-то очень далеко. Оттолкали ее от этого места? Или она задохнулась?

Дети были так сдавлены толпой, что трудно было дышать. Переговаривались хриплым шепотом. Не повернуться. С трудом могут посмотреть друг на друга.

И страшно смотреть друг на друга, на милые лица, омраченные свинцовым в тусклом предрассветном сумраке страхом.

Надя продолжала икать, икнула и Катя.

Чувствовалось окрест, во всей этой, так страшно и так нелепо сжатой толпе, одно желание мучительное, и потому еще не осознанное, и потому еще более мучительное: освободиться от этих страшных тисков.

Но не было выхода, – и бешенство закипало в безумной толпе, нелепо сдавленной по своей воле в этом широком поле, под этим широким небом.

Люди зверели и со звериной злобой смотрели на детей.

Слышались хриплые, страшные речи. Говорил кто-то близкий и равнодушный, – так странно спокойный, – что уже есть задавленные до смерти.

– Упокойничек-то стоит, так его и сжало, – слышался где-то близко жалобный шепот, – сам весь синий, страшный такой, а голова-то мотается.

– Слышишь, Надя? – спросила шепотом Катя. – Вон, говорят, мертвый стоит, задавленный.

– Врут, должно быть, – шепнула Надя, – просто в обмороке.

– А может быть, и правда? – сказал Леша.

И страх слышался в его хриплом голосе.

– Не может быть, – спорила Надя, – мертвый упал бы.

– Да некуда, – отвечал Леша.

Надя замолчала. Опять икота начала мучить ее.

Седая косматая старуха, махая над головой руками, словно плывя, вылезла из толпы прямо на Удоевых. Вопя неистово, она протолкалась мимо них, и было так тесно и тяжело, что казалось, что она проходит насквозь, как гвоздь.

Ее неистовый вопль, ее мучительное появление в бледно-мутной предрассветной мгле были, как призрак тяжелого сна. И с этого времени уже все в сознании задышающихся детей было истомой и бредом.

XII

Наконец, после ночи томительной и страшной, стало быстро светать.

Быстрая, радостная, детски веселая, запылала, засмеялась смехами розовых тучек зари. Золотые в мгlistой дали вспыхнули блески. И пока еще земля была темна и сурова, уже небо все полыхало радостью, всемирной радостью вечного торжества. И люди, – что же люди! Все еще только люди!..

Между темной, такой грешной, такой обремененной землей и озаренным вновь блаженным небом простерся густой пар от дыханий великого множества людей.

Ночная прохлада, свиваясь в золотые небесные сны, сгорала в легких тучах, в заревых лучах.

А толпа, так странно, так неожиданно озаренная сверху безмятежным заревым смехом, – эта громадная земная толпа насквозь пронизана была злобой и страхом.

Тяжко двигалась, стремясь вперед, – и вновь приходящие из города тупо и злобно теснили стоявших впереди вперед, к сараям с подарками.

Под вечным золотом зари тусклое олово бедных кружек влекло людей в смятение и тесноту.

В истоме и бреду тяжкие, медленные мысли теснились в сознании детей, в темное

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
сознание задыхающихся, и каждая мысль была страхом и тоской. Жестокая
надвигалась погибель. Своя погибель. Погибель милых. И чья больнее?

Словно просыпаясь порой, принимались кричать, и жаловаться, и просить.

Хриплые голоса их слабо взлетали, – раненой птицей с поломанным крылом, – и жалко падали и тонули в глухом гуле тупой толпы.

Тускло-суровые взоры угрюмых людей были им ответом.

Тоска теснила дыхание, нашептывала злые, безнадежные слова.

И уже не было надежды уйти. Люди были злы. И злы и слабы. Не могли спасти, не могли спастись.

Мольбы слышались повсюду, вопли, стоны, – напрасные мольбы.

И кого можно было умолить здесь, в этой толпе?

Уже как будто не люди, – казалось задыхающимся детям, что свирепые демоны угрюмо смотрят и беззвучно хохочут из-за людских сползающих, истлевающих личин.

И дьявольский мучительно длился маскарад. И казалось, – не будет ему конца, – не будет конца кипению этого сатанинского котла.

XIII

Стремительно встало солнце, радостно возбужденный, злой Дракон. Пахнуло жарким дыханием Змия. Сжигая последние струи прохлады, возносился злой Дракон.

Толпа всколыхнулась.

Гул голосов пронесся над толпой.

Так отчетливо все стало кругом. Как будто, сдернутые невидимой рукой, упали ветхие личины.

Демонская злоба кипела окрест, в истоме и бреду.

Свирепые сатанинские хари виднелись повсюду. Темные рты на тусклых лицах изрыгали грубые слова.

Леша застонал.

Рыжий черт, сверкая сухими глазами, зарычал на него:

– Попал сюда, так и терпи. Мы тебя не звали. Помнись, сволочь сахарная. Начисто кишки выдавим.

Ярый Змий ярил людей.

Казалось, что солнце поднялось стремительно, и уже вдруг стало высокое и беспощадное.

И стало так жарко и душно, и такая жажда томила всех.

Кто-то рыдал.

Кто-то молил жалобно:

– Хоть бы водиночку с неба!

Катя икала.

Иногда показывались чьи-то странно и страшно знакомые лица. Как все лица в этой озверелой толпе, и они застыли в своем ужасном преображении.

На них было еще страшнее смотреть, чем на незнакомых, потому что озверение знакомого лица чувствовалось еще больнее.

Леша почувствовал, что кто-то давит на его плечи. Так тяжело вдавливал в землю. В темную, жестокую землю.

Кто-то старался влезть.

Было несколько остро мучительных минут. Потом на краткий миг облегчение. Потом взлезший вверх наступил сапогом на Лешину голову. Леша услышал тихий Надин вскрик.

Кто-то темный и грузный пошел поверху в сторону, по плечам и головам, и странно колебался в воздухе.

Леша поднял голову вздохнуть воздухом высокого простора. Но было жарко в высоте.

Небо сияло ясное, торжественное, недостижимо высокое, нежно усеянное перламутрами перистых облаков на западной половине.

Море торжественного света изливалось от только что поднявшегося солнца. И солнце было новое, яркое, величественное и свирепо-равнодушное. Равнодушное навсегда. И все его великолепии сверкало над гулом томления и бреда.

Кто-то тяжело топтался на Лешиних ногах.

Катя икала тяжело и мучительно.

– Да перестань! – хрипло крикнул Леша.

Катя захохотала. Смех с икотой был странен и жалок.

И уже над всей шириной поля носился тяжелый, непрерывный гул криков, стонов, визгов.

И тогда настали минуты взаимной бессмысленной злобы.

Люди били друг друга, сколько позволяла теснота. Пинали друг друга ногами. Кусались. Хватали друг друга за горло, душили.

Более слабых затискивали на землю и становились на них.

Крики и стоны, мольбы, проклятия, все, что слышал Леша, он повторял безжизненным, задушенным голосом, и, как еще две куклы, за ним лепетали то же обе сестры.

XIV

Мольбы и стоны вдруг стали тихи и дремотны.

Настали краткие и странные полчаса затишья, томления, усталости без конца, тихого, жуткого бреда.

Гул бреда носился над толпой, тихий гул, такой придавленный, такой жуткий.

И уже бред был разлит во всем, и у всех трех сквозь дым бреда едва теплилось страшное сознание гибели.

Обе сестры тяжело икали.

– Ангелочек божий! – взвизгнул кто-то близко.

Утренняя дремота полузадавленных в толпе людей прерывалась изредка дикими воплями отчаяния.

И опять становилось тихо, и жуткий гул носился над толпой, не подымаясь в ликующие просторы, к неподвижному злему Змию высот.

Кто-то икал мучительно. Казалось, что это мучительно умирает кто-то.

Леша вслушался и понял, что это икает Надя.

Леша с усилием повернул к ней голову.

Надины посинелые губы открывались и закрывались странным, механическим движением. Глаза не глядели, и лицо приняло тусклый, мертвенный оттенок.

XV

Промчался томный срок затишья. И вдруг буря нелепых гулов и воплей завывала над смятенной толпой. Дикие восклицания бичевали воздух.

По искаженным злобой лицам видно было, что здесь уже не было людей. Дьяволы сорвали свои мгновенные маски и мучительно ликовали.

Несколько человек в толпе в эти минуты вдруг сошли с ума. Они выли, и ревели, и кричали что-то нелепое и ужасное.

Из-под ног людей часто вырывались предсмертные дикие вопли, – там, на земле, повергнутые, сбитые с ног уже не могли подняться.

И эти вопли потрясли души немногих, еще оставшихся людьми в страшной толпе человекообразных дьяволов.

Стояли рядом оборванный хулиган и его подруга, развратная и пьяная. Они смотрели друг на друга и говорили злобные слова. Хулиган странно двигал плечом.

Усилием бешеной злобы освободил руку. В руке сверкнул нож. В ярких лучах солнца таким острым смехом задрожала быстрая сталь.

Нож вонзился в тело блудницы. Завизжала:

– Проклятый!

Захлебнулась своим визгом. Умерла.

Хулиган завопил. Нагнулся к ней. Грыз ее красную, толстую щеку.

– Нас задавили совсем, мы сейчас умрем, – хриплым голосом сказала Катя.

Леша углом глаза глянул на нее, как-то бессмысленно засмеялся и сказал громко и отчетливо:

– Надю задавили. Она холодная.

И крупные по его лицу катились слезы, а бледные губы бессмысленно улыбались.

Катя молчала. Лицо ее стало синеть и глаза потухли.

Леша задыхался.

Его ноги ступили на что-то мягкое. Резкая вонь поднималась с земли. Что-то, тяжело хрипя, ворочалось внизу.

– Воняет! – говорил сзади Леша странно равнодушный голос. – Бабу свалили, живот ей выдавили.

Посинелое Катино лицо странно, безжизненно поникло.

Леше стало вдруг холодно.

XVI

– Шесть часов, – сказал кто-то.

По голосу было слышно, что говорит дюжий, спокойный человек, которому не страшно в толпе.

– Четыре часа еще жить, – ответил ему робкий, задыхающийся шепот.

– Чего ждать? – злобно рявкнул кто-то гулким голосом.

– Помрем все начисто, – спокойно и тихо ответил женский глубокий голос.

Кто-то отчаянно завопил срывающимся полудетским криком:

– Братцы, да неужто нам еще эстольки времени давиться!

Взбудораженный гул метнулся по полю, как шумная стая пугливых, чернокрылых птиц. Метнулся, завыл, колыхнул. И навстречу ему метнулась толпа.

– Пора, братцы! – орал чей-то визгливый голос. – Не зевай, черти лешие все себе заберут.

– Иди, иди! – гудело кругом.

Стремительно и тяжело двигалась уже вся толпа.

А на Лешу неподвижные смотрели склоненные лица сестер, холодных и тяжелых на его плечах.

Разбившиеся волосы милых щекотали лешины бледные щеки.

Ноги не переступали. Толпа несла всех трех: и Лешу, и сестер.

– Раздают! – закричал кто-то.

Видно было, и, казалось, недалеко, как летели в воздухе какие-то пестрые узелки.

– На шарап! – угрюмо хрипел измученный, тощий мужик.

– Чего стали, идите! – неистово кричали задние передним.

– Наших не пускают, анафемы вперед лезут, а мы стой, годи! – свирепо орал кто-то.

И со всех сторон неслись бешеные крики:

– Братцы, вали напролом!

– Да что на него, лешего, смотреть, – за горло его хватай, да под ноги!

– Вали вперед, чего смотреть!

– Не дают, сами возьмем!

– О-ой, раздавили!

– Батюшки, кишки вон лезут!

– Подавись своими кишками, сволочь треклятая!

– Режь ее, стерву астраханскую!

– Давай, не задерживай! – ревел впереди свирепый голос.

XVII

Везде вокруг свирепые грозили, отчаянные лица.

Тяжелый поток. И все та же злоба...

Нож разрезал платье. И тело.

Завыла. Умерла.

Так страшно.

Безжизненно смотрят на него странно посинелые лица милых...

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Кто-то хохочет. О чем?..

Близок конец. Вот уже стены сараев...

В поднятой высоко руке дюжего парня тускло светилась в золотом солнечном свете кружка. И рука была странно и ненатурально воздвигнута к небу, как живой шест.

Кто-то метнулся вверх головой. Выбил кружку, – так слабо держала ее посинелая от натуги рука.

Кружка падала медленно, грузно, описывая дугу. Скользнула по чьей-то спине.

Дюжий парень скверно выругался.

Он был красный, потный, и белки его глаз, вытаращенных от натуги, казались крупными.

Нагнул за кружкой с большим усилием. Видно было, как двигаются его локти.

Вдруг он поник, глухо крикнул.

Кто-то повалился на его нагнутую спину. Повалился и зарычал. Барахтаясь, пополз вперед по спине упавшего. Еще кто-то сзади навалился на обоих животом. Все трое осели. Послышались глухие вопли. Верхний поднялся и казался очень высоким. Толпа слилась над поверженными, и по ее грузному оседанию можно было заметить, как приникли к земле двое задавленных.

Дюжий мужик с покрасневшим до багровой синевы лицом, двигая локтями и плечами, высвободил правую руку и протянул ее вперед. Его сдавили. Рука странно моталась на чужом плече, красная возле красного платка.

Баба в красном платке повернулась, вцепилась зубами в руку дюжего мужика. Непонятна была ее злость.

Свирепо вопя, мужик вырвал руку. Отчаянно заработал локтями. Казалось, что он растет.

Его выперли вверх. Упал на чьи-то головы, и злобные под ним загудели голоса. Встал коленями на чьи-то плечи. Опять упал.

Падая, вставая, опять падая, становясь на четвереньки, он пробирался вперед, и толпа была под ним сплошной, неровной мостовой, тяжело движущимся глетчером.

И уже многие выталкивались локтями вверх.

Видно было несколько человек, неловко бегущих по плечам и головам к крышам буфетов.

И уже многие взбирались на крыши.

XVIII

Две бабы сцепились. Молча, угрюмо. Одна залезла пальцами в рот другой и рвала ей рот. Видна была кровь. Послышался отчаянный визг.

Резались ножами, чтобы проложить дорогу, и убитых толкали под ноги. Иногда убийца падал на убитого, и оба никли под ногами множества свирепых дьяволов.

Многие упали в овраг. На них валились другие. В короткое время овраг был завален тяжело вопящими, мучительно умирающими людьми. И дьяволы топтали их ногами, обутыми в тяжелые сапоги.

Рыжий парень перед Лешей давно уже лез вверх, отчаянно работая локтями, напирая на плечи соседей. Он кричал что-то невнятное и хрипло хохотал.

Сначала непонятно было, чего он хочет и что с ним делается. Вдруг он начал быстро подниматься и на короткое время закрыл перед Лешиними глазами все, что было впереди.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Нелепые крики его падали в тупую толпу сверху острыми, свистящими бичами, и странно было слушать нисходящий, казалось, с неба гнусный голос. И тогда слова его стали ясными.

И слова его были – кощунство, и хула, и скверная брань.

Потом он вдруг обрушился куда-то и ударил каблуком Лешу в лоб.

Но сейчас же начал подниматься. Стал на четвереньки. Вцепился в русую косу полузадавленной девушки. Встал на чьи-то плечи.

Он был красный, рыжий, хохотал, неровно шел вперед, по плечам и головам ступая без разбора тяжелыми сапогами.

Похожий на дьявола, медленно шел он над сжатой, тяжело ревушей толпой и скрывался вдали.

И опять казалось Леше, сквозь страшное томление, и тошноту, и багровый туман в глазах, что кто-то громадный, головой до неба, – и еще выше, – человек или дьявол или человек-дьявол, идет по головам умирающих в задыхающейся толпе людей и вержет на них страшные богохульства.

Толпа впереди продавливалась в узкие проходы между деревянными шалашами. Оттуда слышались вопли, визги, стоны. Мелькали шапки и клочки одежды, почему-то взлетающие вверх.

Чья-то русая голова несколько раз стукнулась об острый угол балагана, поникла, пронеслась порывом вперед и вдруг исчезла.

Казалось, что между балаганами теснятся все более и более высокие люди. Странно было видеть головы наравне с крышей балагана. Шли по телам поверженных.

Из-за балаганов доносился торжествующий рев победителей. Мелькали какие-то пестрые лохмотья, – что-то перекидывалось по воздуху.

И вот Лешу и сестер втолкали в один из проходов между балаганами.

Здесь было нестерпимо тесно, – Леше казалось, что все его кости сломаны. И страшно отяготели на его плечах изломанные тела сестер.

Но кончился узкий проход.

За балаганом стало просторно, светло, радостно.

«Сейчас умру», – подумал Леша и счастливо засмеялся.

На мгновение Леша увидел чье-то красное, радостное лицо и человека, потрясавшего узелком над головой.

И упал.

Обе сестры свалились на него. Наполовину прикрыли его своими измятыми телами.

Леша еще слышал, как по нем бежали, дробно переступая по спине. Тяжко во всем теле отдавались свирепые удары дьявольских ног.

Чей-то каблук ступил на затылок.

Мгновенное было ощущение тошноты.

Смерть.

Смерть по объявлению

Резанов чувствовал себя таким слабым, усталым, увядающим. К вечному успокоению все чаще клонились мысли. Казалось, что слаще нет отдыха, как на дощатом ложе, в сосновой домовине.

И захотелось вдруг развлечения не по установленной программе.

Сидел в своей тихой комнате один.

Читал объявления в «Новом времени» очень внимательно. Искал чего-то. Сравнивал и выбирал.

Его бледное, начинающее увядать лицо являло признаки смущения и нерешительности. В задумчивости взял карандаш. Поставил его острием на абажур лампы.

Дрожала рука. Стучало острие карандаша. Усмехнулся. Подумал:

«Старею».

Опять опустил глаза, – когда-то вечно-веселые, теперь устало-равнодушные, – на газетные листы склонил внимательные и спокойные взоры.

Наконец выбрал одно объявление.

Какая-то интеллигентная молодая дама, красивая и воспитанная, находясь в крайней нужде, просила добрых людей одолжить ей пятьдесят рублей; согласна была на все условия. Просила писать в семнадцатое почтовое отделение до востребования, предъявительнице квитанции за № 205824.

Резанов вынул из коробки лист желтоватой, шероховатой бумаги с неровными краями, с водяными знаками Margarete Mill.

Усмехаясь невесело, писал:

«Милостивая Государыня,

Я дам Вам деньги, которых Вы просите, но не в долг и не даром, а за работу, о которой сейчас Вам напишу. Напишу по необходимости вкратце, – в письме многого не скажешь. Но так как, по Вашим словам, Вы – дама интеллигентная, то Вы, может быть, поймете, что именно от Вас потребуется. Вы должны явиться мне в образе моей смерти, – чем более привлекательной, тем лучше, – и сообразно с этим вести себя. Если Вы сумеете разнообразить достаточно эту веселую игру, то Ваш заработок может быть и впредь достаточен для Вашего пропитания. Согласны ли Вы? Не страшно ли Вам? Понимаете ли Вы, что от Вас требуется? Если согласны и не боитесь, и понимаете, то напишите, когда и где я могу Вас в первый раз встретить. Для меня самое удобное время – после пяти вечера. Пишите в Главный почтамт предъявителю трех рублей № 384384. Письмо возьму в четверг».

Трехрублевка, новенькая, пошловато-красивого образца 1905 года, хрустела неприятно, как накрахмаленное платье полоротой причастницы. Цифры 384 повторялись дважды. Совпадение казалось странным и знаменательным.

Подумал:

«А если?»

Бледно улыбнулся.

«Ну и пусть».

Не подписал. Запечатал. Сам отнес и бросил в почтовый ящик, – чтобы не забыли до утра, чтобы дошло скорее.

Потом вернулся и думал, какая она придет.

Тощая, уродливая, с побуревшим от бедности и страданий лицом, с желтыми зубами, с жидкими рыжеватыми космами волос под истасканною на дожде и ветре шляпою, где жалко и смешно трепыхаются перо и бант?

Или молоденькая, застенчивая, тихая, с тонкими пальцами швеи, исколотыми иглой, с бледным, точно восковым личиком, с большим, милым ртом?

Или пьяною придет проституткою, накрашенная, разбитная, с визгливым голосом и грубыми ухватками?

Или провинциальная вульгарная дама в невероятном костюме, с невозможными манерами, с невытою шею, – брошенная мужем и еще никуда не пристроившаяся?

Какая же она будет, смерть? Моя смерть!

Или в темном встретит переходе, и не увижу ее, и только в холодную опущу руку мое бедное золото?

В четверг пошел в Почтамт. Летний день в столице был пылен, жарок и шумен. Там и здесь чинили мостовые, красили дома, – и так неприятно пахло. И все же было весело, привычно, и вывески знакомых ресторанов глядели празднично-нарядно.

Не торопился. Пил пиво у Лейнера. Никого не встретил знакомых. Да и кого теперь встретить? Разве случайно.

Было близко время к четырем, когда прошел сквозь узкие отворенные двери в новый, под стеклянную крышу, зал Почтамта. Вспомнил старый, заплеванной закоулок, где прежде выдавали письма до востребования. Теперь и чиновники заботятся о миловидности.

Остановился у будочки с бумагой и конвертами. Вертящаяся витрина показала ему все виды приторной пошлости на открытках, как на подбор.

– Покупают? – спросил он продавщицу.

Смазливая девица со скучающим лицом обидчиво дернулась жирными плечами.

– Вам что угодно? – спросила она враждебным тоном. – Конверты, бумага, открытые письма.

Взглянул на нее пристально. Заметил кудерьки на лбу, фарфоровый цвет лица, синие зрачки. Сказал:

– Да ничего не надо.

И прошел дальше.

Прямо против входа за средним двойным окном большой квадратной загородки сидели три девицы, разбиравшие письма. Снаружи стояли получатели. Толстая дама с бородавкою на носу спрашивала письмо на имя Руслан-Звонаревой.

– Ваша фамилия Звонарева? – спросила почтовая барышня с лицом цвета пшеничной булки и отошла вглубь к шкапу с письмами.

– Руслан-Звонарева, – испуганным полупшепотом говорила ей вслед дама с бородавкою.

И когда почтовая пшеничная девица вернулась с пачкою писем к окошку, дама с бородавкою повторила:

– У меня двойная фамилия, Руслан-Звонарева.

Рядом с нею стоял рыжий господин с котелком в руке и беспокойными глазами смотрел на письма, которые перебирала вторая почтовая девица, самая красивая из трех и очень гордая этим. Господин, по всем признакам, ждал письма «чувствительного и фривольного», и волновался, и был некрасив и жалок.

Третья девица, пухлая, румяная, с лицом широким и коротким, с опущенною на лоб широкою занавескою густых каштанового цвета волос, смеялась чему-то своему. Все обращалась к двум другим, – и те улыбались, – и смеялась, и говорила какие-то отрывочные слова о чем-то забавном.

Резанов молча протянул ей свою трехрублевку. Смотрел на девиц. Думал, что они молоды, здоровы, миловидны. Так их подобрало почтовое начальство, заботящееся о приличном виде своих учреждений.

Вспомнил недавнюю газетную полемику между почт-директором и какою-то

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
просительницу, которая не получила места на почте потому, что была тощая,
некрасивая, вялая от робости и бедности и недоедания, и старая – целых тридцать
два года.

Закрыв глаза, – встало чье-то бледное, испитое, испуганное лицо с широко
открытыми глазами, с дергающимися нервно и робко губами. Кто-то шепнул, так ясно
и тихо:

– Нечем жить.

Кто-то ответил, тихо и спокойно:

– Не живи.

Резанов открыл глаза. Ненавидящим взглядом смотрел на пухлолицую девицу, которая
искала письмо на его номер, выкидывая из пачки на стол одно за другим открытки и
закрытые письма. И все смеялась. Так противно, надоедливо.

Наконец протянула письмо в узком штемпельном конверте. Перебросила остальные
письма.

– Больше нет.

– И не надо, – досадливо сказал Резанов.

Отошел в сторону, сел на скамью у колонны.

Разорвал конверт. Торопился, но был спокоен.

Крупные и узкие буквы, тонкие черты, ровный и спокойный почерк,
неожиданно-красивый.

«Милостивый Государь,

я согласна. Я не боюсь. Я понимаю. Четверг, шестой час. Михайловский сад, аллея
направо от входа. Белое платье. В правой руке Ваше письмо в конверте.

Ваша Смерть».

Сторож звонил. Зал пустел. Резанов поехал в «Вену». Пообедал. Пил вино.
Торопился.

Приехал в сад в половине шестого.

Она стояла недалеко от входа, на краю аллеи, под деревом. Ее платье белело на
темной зелени тихого сада.

Тонкая, бледная, очень тихая и спокойная. Внимательно смотрела на него, когда он
подходил к ней. Глаза серые, спокойные. Ничего не выдавали. Только внимательные.
В лице, совсем некрасивом, выражение ясности и покорности. Губы большого рта
улыбались мило и печально.

– Милая смерть, – сказал он тихо.

Стал перед нею. Странно волнуясь, протянул ей руку.

Она молчала. Переложила его письмо в левую руку. Пожала его руку тонкою,
холодную, тихую рукою.

Он спросил ее:

– Ты долго ждала меня?

Она ответила, медленно произнося слово за словом, голосом ясным, безжизненно
ровным, смертельно спокойным:

– Ты меня не ждал. Ты думал, что встретишь не меня.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
И казалось, что холодом повеяло от нее. И так тихи, так недвижны были складки ее белого платя. Ее простая соломенная шляпа с белой лентой, надетая высоко, кидала желтую тень на ее покойное лицо. И, стоя перед Резановым, она слегка склонилась и провела концом своего легкого зонтика тонкую черту на песке, слева направо, между ним и ею.

Спросил:

– Это – правда, что ты согласна быть моею смертью?

И такой же был тихий ответ:

– Я – твоя смерть.

Спросил опять, чувствуя холод в теле:

– Разве ты не боишься исполнять такую мрачную роль?

Сказала:

– Смерть боится живых и не показывается им так прямо. Ты, может быть, первый, кто увидел мое лицо, земное, человеческое лицо твоей смерти.

Сказал:

– Ты ведешь свою роль очень быстро и слишком добросовестно. Скажи мне, как тебя зовут?

Улыбнулась печально и кротко. Сказала:

– Я – твоя смерть, белая, тихая, безмятежная. Торопись дышать земным воздухом, – часы твои сочтены.

Нахмурился. Сказал:

– Ты – интеллигентная дама, ты находишься в затруднительном положении и просишь денег. Что довело тебя до такой крайности, что ты согласна на все условия? И даже на то, чтобы играть в такую страшную игру.

Ответила:

– Я голодна, больна, устала и печальна.

Засмеялся. Сказал:

– Прежде всего отдохни. Что ты стоишь? Сядь на скамейку.

Прошли несколько шагов. Сели. Она чертила на песке запутанный узор.

Сказал:

– Ты голодна, – мы поедем, – хочешь? – куда-нибудь, и я накормлю тебя. Я дам тебе денег, сколько ты просила. Скажи, не надо ли тебе еще что-нибудь от меня?

Сказала:

– Я возьму от тебя все, что ты можешь дать, – твое золото и твою душу.

Он вздрогнул. Засмеялся. Сказал:

– Ты хорошо играешь свою роль.

Ответила:

– Я пришла. Мой час настанет скоро. Я жду.

Он вынул кошелек.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
В среднем маленьком отделении за стальной застёжкой лежали заранее
приготовленные пять золотых монет. Вынул их.

Она протянула молча свою узкую бледную руку, – такую тихую и спокойную, –
открытую ладонью вверх. Легкие линии чертили ясный и простой узор на ее белой,
недвижно-раскрытой ладони.

Пять золотых монет, тихо звякнув звучным звоном одна о другую, легли на
холодную, недрогнувшую ладонь. Неспешно сомкнулась рука, тонкие пальцы, длинные,
белые, сжались, – и неторопливо опустилась рука с деньгами в скрытый сбоку
прорез белой юбки. И он думал:

– Мое бедное золото, – мой последний дар, – скудный заработок поденщика, – малая
плата за безмерный труд, – тебе, моя милая.

Думал ли только? сказал ли вслух? Так ясно звучали эти слова! Такую печалью
стеснилась грудь!

И грустная, смотрела на него она сбоку серыми внимательными глазами и улыбалась.
Потом склонилась, и тихо шуршал на песке конец ее зонтика.

И шептала:

– Взяла твое золото – возьму твою душу. Отдал мне золото – отдашь мне душу.

Сказал он тихо:

– Взяла мое золото, потому что я дал тебе его. Но как возьмешь ты мою душу? И
где ты ее возьмешь?

И сказала она:

– Приду к тебе в мой час и возьму твою душу. И отдашь мне ты свою душу. Отдашь,
потому что я – твоя смерть, и ты не уйдешь от меня никуда.

Тоска томила его. Он сказал резким голосом, побеждая тоску и страх:

– Ты живешь в комнате от хозяев, ты ищешь места или работы, тебя зовут Марьей
или Анной. Как тебя зовут?

И крикнул с дикою злобою:

– Скажи, как тебя зовут!

Повторила бесстрастно:

– Я – твоя смерть.

Такие безнадежные и беспощадные упали слова. Дрогнул. Поник. Спросил упавшим
голосом:

– Тебе нужно мое золото, – потому что ты голодная и усталая, – но душа моя,
зачем тебе душа моя?

Ответила:

– На твое золото я куплю хлеба и вина, и буду есть и пить, и накормлю моих
голодных смертеншей. А потом душу твою выну и возьму ее бережно, положу ее себе
на плечи и опущусь с нею в темный чертог, где обитает невидимый мой и твой
владыка, и отдам ему твою душу. И сок твоей души выжмет он в глубокую чашу, куда
и мои канут тихие слезы, – и соком твоей души, смешанным с тихими моими слезами,
на полночные брызнет он звезды.

Тихо, неспешно, слово за словом, звучала странная речь, как формула темного
заклятия.

И кто шел мимо, и какие звучали окрест голоса, и какие проносились, гремя по
внешней мостовой, за оградой экипажи, и был ли быстрый легконогий бег и детский

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
смех и лепет, – все скрыто было за магической пеленою медлительной речи. И как за тающим дымом ладана таился, затаился звучащий, пестрый, весело вечеряющий день.

И была тоска, и усталость, и равнодушие. Тихо сказал:

– Если и до звезд вознесется трепет моей души и в далеких мирах зажжет неутоляемую жажду и восторг бытия, – мне-то что? Истлевая, истлею здесь, в страшной могиле, куда меня зароят зачем-то равнодушные люди. Что же мне в красноречии твоих обещаний, что мне? что мне? скажи.

Сказала, улыбаясь кротко:

– Во блаженном успении вечный покой.

Повторил тихо:

– Вечный покой. И это – утешение?

– Утешаю, чем могу, – сказала она, улыбаясь все той же неподвижной, кроткою улыбкою.

Тогда он встал и пошел к выходу из сада. За собою слышал он ее легкие шаги.

Долго шел он по городским улицам, – и она шла за ним. Иногда он ускорял шаги, чтобы уйти от нее, – и она шла скорее, торопилась, бежала, приподнимая тонкими пальцами край белого платья. Когда он останавливался, она стояла поодаль, рассматривая выставленные в магазинных окнах предметы. Иногда он досадливо оборачивался и шел прямо на нее, – тогда она торопливо перебежала на другую сторону улицы или пряталась в подъездах или под воротами.

И следила за ним серыми, спокойными, внимательными глазами. Неотступно следила.

«Сяду на извозчика», – подумал он.

Удивился, почему такая простая мысль раньше не пришла ему в голову.

Но едва он заговорил с извозчиком, она приблизилась. Стояла совсем близко и веяла на него холодом и печалью. И улыбалась.

Подумал досадливо:

«Она сядет со мною. От нее не уйти, не уехать».

Извозчик спрашивал шесть гривен.

– Тридцать копеек, – сказал Резанов и быстро пошел прочь.

Извозчик ругался.

Резанов поднялся в третий этаж. Остановился у дверей своей квартиры. Позвонил. Все время слышал шорох тихих, поднимающихся по лестнице шагов. Второй раз позвонил нетерпеливо. Холод страха пробежал по спине. Хотелось войти в квартиру раньше, чем она поднимется, раньше, чем она увидит, в какую он вошел дверь, – на площадке было четыре двери.

Но уже она поднималась. Уже близко, в полусвете лестницы, забелелось ее платье. И ее серые глаза внимательно и близко смотрели в его испуганные глаза, когда он, входя в квартиру, последний раз глянул на лестницу, поспешно закрывая за собою дверь.

Сам замкнул дверь на ключ. Так резко звякнул замок. Потом остановился в полутемной передней. Смотрел на дверь тоскующими глазами. Чувствовал, – точно видел сквозь опрозрачившуюся вдруг дверь, – как она стоит за дверью, тихая, с кроткою улыбкою на милых губах, и поднимает ясное, бледное лицо, чтобы прочесть и запомнить номер квартиры.

Потом тихие послышались шаги вниз по лестнице.

Резанов вошел в свой кабинет.

– Она ушла, – словно сказал кто-то ясным голосом.

И другой словно слышался в ответ ему голос, безнадежно-спокойный:

– Она придет.

Он ждал. Все темнее становилось. Томила тоска. Мысли были неясны и спутаны. Голова кружилась. По телу пробежал озноб и жар.

Думал:

«Что она делает? Купила еды, пришла домой, голодных своих смертеньшей кормит. Так и назвала их – смертеньши. Сколько их? Какие они? Такие же тихонькие, как и она, моя милая смерть? Исхудалые от недоедания, беленькие, боязливые. И некрасивые, и с такими же внимательными глазами, такие же милые, как она, моя милая, моя белая смерть.

Кормит своих смертеньшей. Потом спать уложит. Потом сюда придет. Зачем?»

И вдруг любопытство зажглось в нем.

Придет, конечно. Иначе зачем проследила его до дому. Но зачем придет? Как она понимает свою задачу, эта странная дама, готовая за деньги на все условия, и даже на то, чтобы по смертям ходить?

А может быть, она и не женщина, а настоящая смерть? И придет, и вынет его душу из этого грешного и слабого тела?

Лег на диван. Укрылся пледом. Весь сотрясаясь в приступах жестокой и сладкой лихорадки.

Какие странные приходят в голову мысли! Она – умная и добросовестная. Взяла деньги, и хочет их заработать, и хорошо играет подказанную ей роль.

Отчего же она такая холодная?

Да оттого, что она – бедная, голодная, усталая, больная.

Устала от работы. Так много ей работы.

«Я косила целый день.
Я устала. Я больна».

Ходит, ищет, голодная, больная. Бедные смертеньши ждут, голодные ртишки разевают.

И вспомнил ее лицо, – земное, человеческое лицо моей смерти.

Такое знакомое лицо. Родные черты.

В памяти, черта за чертою, все яснее вставало ее лицо, – знакомые, родные, милые черты.

Кто же она, моя белая смерть? Не сестра ли моя?

«Тяжело мне, – я больна.
Помоги мне, милый брат».

И если она – моя вечная Сестра, моя белая смерть, – то что мне до того, что она здесь, в этом воплощении, пришла ко мне в образе ищущей по объявлениям, живущей в комнате от хозяев!

Я вложил в ее руку мое бедное золото, мой скудный дар, – звонкое золото, в холодеющую руку. И взяла мое золото остывающею рукою, и возьмет мою душу. Снесет меня под темные своды, – и откроется лик Владыки, – Мой вечный лик, и Владыка – я. Я воззвал мою душу к жизни, и смерти моей велел идти ко мне, идти за мною.

И ждал.

Была ночь. Тихо звякнул колокольчик. Никто не слышал. Резанов поспешно откинул плед. Прошел в переднюю, стараясь не шуметь.

Так резко зазвенел замок. Дверь открылась, – на пороге стояла она.

Он ступил назад, в темноту передней. Спросил, словно удивляясь:

– Это – ты?

И она сказала:

– Я пришла. Это мой час. Пора.

Он замкнул за нею дверь и пошел к себе по неосвещенным комнатам. Слышал за собою легкий шорох ее ног.

И в темноте его покоя она прильнула к нему и поцеловала его целованием нежным и невинным.

– Кто же ты? – спросил он.

Сказала:

– Ты звал меня, и я пришла. Я не боюсь, и ты не бойся. Я дам тебе последнюю усладу жизни, – поцелуй смерти, – «и будет смерть твоя легка и слаще яда».

Спросил:

– А ты?

Ответила:

– Я сказала тебе, что сойду с твоею душою тем единственным путем, который перед нами.

– А твои смертеныши?

– Я послала их вперед, чтобы они шли перед нами и открывали нам двери.

– Как же ты вынешь мою душу? – спросил он опять.

И она прижалась к нему нежно и шептала:

– «Стилет остер и сладко ранит».

И прильнула, и целовала, и ласкала. И точно ужалила, – уколола в затылок отравленным стилетом. Сладкий огонь вихрем промчался по жилам, – и уже мертвый лежал в ее объятиях.

И вторым уколом отравленного остря она умертвила себя и упала мертвая на его труп.

Голодный блеск

Сергей Матвеевич Мошкин пообедал сегодня очень хорошо, – сравнительно, конечно, – как ему, сельскому учителю, лишившемуся места и уже с год околачивающемуся по чужим лестницам в поисках работы, и не к лицу было бы. А все-таки голодный блеск сохранялся в его глазах, грустных и черных, и придавал его худощавому, смуглому лицу выражение какой-то неожиданной значительности. Мошкин истратил на обед последнюю трехрублевку, и теперь в его карманах брэнчало только несколько медяков, да в кошельке лежал истертый пятиалтынный. Пировал он на радостях. Хотя и знал, что глупо радоваться, и рано, и нечему. Но так наискался работы и так прожился, что и призрак надежды радовал.

На днях Мошкин поместил в «Новом Времени» объявление. Он рекламировал себя, как педагога, владеющего пером, – на том основании, что корреспондировал в местную приволжскую газету. За это он и слетел с места: доискались, кто писал злые

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
корреспонденции в «левую» газету; земский начальник обратил внимание инспектора народных училищ, а инспектор, конечно, не потерпел.

– Нам таких не надо, – сказал ему инспектор при личном объяснении.

Мошкин спросил:

– А каких же вам надо?

Но инспектор, не отвечая на неуместный вопрос, сухо сказал:

– Прощайте, до свиданья. Надеюсь увидеться на том свете...

Дальше в своем объявлении Мошкин заявляет, что хочет быть секретарем, постоянным сотрудником газеты, репетитором, воспитателем, сопровождать на Кавказ или в Крым, быть полезным в доме и т. п. Уверял, что не имеет претензий и что не стесняется расстоянием.

Ждал. Пришла одна открытка. Странно, что с ней у него вдруг связались какие-то надежды.

Это было утром. Мошкин пил чай. Вошла сама хозяйка. Сверкнула черными змеиными глазками и сказала язвительно:

– Корреспонденция Сергею Матвеевичу господину Мошкину.

И, пока он читал, гладила свои черные над желтым треугольником лба волосы и шипела:

– Чем письма получать, платил бы деньги за стол, за комнату. Письмом сыт не будешь, а ты в люди походи, поищи, не боронься на испанский фасон.

Читал:

«Будьте любезны пожаловать для переговоров от 6 до 7 вечера, 6 рота, д. 78, кв. 57».

Без подписи.

Злобно глянул Мошкин на хозяйку. Она стояла у двери, прямая, широкая, с опущенными руками, спокойная, как кукла, и холодно-злая, и прямо на него смотрела неподвижными, наводящими жуть глазами.

Мошкин крикнул:

– Баста!

Стукнул кулаком по столу. Встал. Заходил по комнате взад-вперед. И все твердил:

– Баста!

Хозяйка тихо и злобно спрашивала:

– Платить-то будешь, корреспондент казанский и астраханский? а? сознательная твоя харя?

Мошкин остановился перед ней, протянул к ней пустую ладонь и сказал:

– Все, что имею.

Умолчал о последней трехрублевке. Хозяйка шипела:

– Я тебе не гусарская офицерша, мне деньги надобны. Дрова семь целковых, откуда я возьму? Сам себя не прокормишь, – заведи платящую воздохторшу. Ты – молодой человек со способностями, и наружность у тебя достаточно восхитительная. Какая ни есть дура найдется. А мне разве возможно? Куда ни вертыхнись, деньги вынь да положи. Дунь – руб, плюнь – руб, поколей – полтора.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Мошкин приостановился. Сказал:

– Не беспокойтесь, Прасковья Петровна, сегодня вечером получаю место и рассчитаюсь.

И опять принялся ходить, шлепая туфлями.

Еще долго хозяйка шипела, торча у двери. Наконец ушла, крикнув:

– У меня стальная грудь! Другая бы иная на моем месте давно бы глаза под лоб закатила, сказала бы: живите без меня, околачивайтесь, как знаете, а я вам не крепостная.

Ушла, и в его памяти осталась ее странная фигура, прямая, с опущенными руками, с желтым широким треугольником лба под черными, гладко примасленными волосами, с усеченным узким треугольником затасканной желтой юбки, с крохотным треугольником красного нюхающего носа. Три треугольника.

Весь день Мошкин был голоден, весел и зол. Ходил без цели по улицам. Засматривался на девушек, и все они казались ему милыми, веселыми и доступными, – доступными для богатых. Останавливался перед окнами магазинов, где выставлены дорогие вещи. Все острее становился голодный блеск в глазах.

Купил газету. Прочел ее на скамейке в сквере, где смеялись и бегали дети, где модничали няньки, где пахло пылью и чахлыми деревьями, – и запах улицы и сада неприятно смешивался и напоминал запах гуттаперчи. В газете поразил Мошкина рассказ об иступленном, голодающем безумце, который в музее изрезал картину знаменитого художника.

– Вот это я понимаю!

Мошкин зашагал по аллее. Повторял:

– Вот это я понимаю!

И потом, ходя по улицам, смотря на великолепные громады богатых домов, на выставленную роскошь магазинов, на элегантные наряды прогуливающих господ и дам, на быстро проносящиеся экипажи, на всю эту красоту и утешительность жизни, доступные для всякого, у кого есть деньги, и недоступные для него, – рассматривая, наблюдая, завидуя, испытывал все более определяющееся чувство разрушительной ненависти. И повторялись в уме все те же слова:

– Вот это я понимаю!

Подошел к толстому, ленивому и важному швейцару. Крикнул:

– Вот это я понимаю!

Швейцар молча и презрительно покосился на него. Мошкин радостно захихикал. Сказал:

– Молодцы анархисты!

– Проваливай! – сердито крикнул швейцар. – Не проедайся.

Мошкин отошел. Вдруг стало страшно. Городовой стоял близко.

Так резко выделялись его белые перчатки. Досадливо думал Мошкин:

«Вот бы вам бомбу сюда».

Швейцар сердито сплюнул вслед ему и отвернулся. Мошкин долго ходил. В шестом часу зашел в ресторан среднего разбора. Сел к столу близ окна. Выпил водки, закусил анчоусами. Взял обед в семьдесят пять копеек. Пил «Шабли во льду». После обеда выпил ликеру. Слегка охмелел. Под звуки органа кружилась голова. Сдачи не взял. Ушел, слегка пошатываясь, и почтительно провожаемый швейцаром, – и швейцару сунул в руку двугривенный.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Посмотрел на свои никелированные часы, – был седьмой вначале. Пора. Как бы не опоздать! Не наняли бы другого! Стремительно пошагал в Измайловский полк.

Очень мешали:

разрытые мостовые;

оголтелые, вечно сонные извозчики на переходах через улицу;

прохожие, в особенности мужики и дамы:

встречные или не сторонились вовсе, или сторонились чаще влево, чем вправо, –

а те, кого приходилось обгонять, зачем-то шатались по тротуару, и не угадать было сразу, с какой стороны обгонять их;

нищие, – они и к нему приставали, –

и самый механизм хождения.

Так трудно одолевать пространство и время, когда торопишься! Земля точно присасывается к себе, каждый шаг покупаешь усилием и усталостью. До боли и ломоты в икрах. От этого возрастала злость и усиливался голодный блеск в глазах. Мошкин думал:

«Тарарахнуть бы все это к черту! Ко всем чертям!»

Наконец добрался.

Вот рота, а вот и дом № 78. Дом четырехэтажный, обшарпанный: два подъезда, мрачные с виду; посередине – разинутая пасть ворот. Посмотрел таблички над подъездами, – первые номера, а № 57 нет, никого не видно. У ворот белая пуговка, и над нею на медяшке заросшая грязью надпись «к дворнику».

Нажал пуговку и вошел в пасть, поискать табличку жильцов. Но прежде чем достиг таблицы, уже навстречу ему шел дворник, очень внушительного вида и с черной бородой.

– А где квартира пятьдесят семь?

Мошкин спрашивал с небрежной манерой, заимствованной от того земского начальника, из-за которого «слетел» с места. Знал уже по опыту, что с дворниками надо грворить так-то и нельзя говорить вот так-то. Скитания по чужим подворотням и лестницам тоже придают человеку известный лоск.

Дворник спросил несколько подозрительно:

– А вам кого?

С простодушной небрежностью, растягивая слова, Мошкин отвечал:

– А я и сам не знаю. Я по объявлению. Получил письмо, а кто пишет, не написано. Только адрес написали. Кто же там живет, в номере пятьдесят семь?

– Госпожа Энгельгардова, – сказал дворник.

– Энгельгардт? – переспросил Мошкин.

Дворник повторил:

– Энгельгардова.

Мошкин усмехнулся:

– Русификация?

– Елена Петровна, – отвечал дворник.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
– Чертова перечница? – почему-то спросил Мошкин.

Дворник ухмыльнулся.

– Нет-с, молодая барышня. По парадному пожалуйста, из ворот направо.

– Да там над дверями табличка, только первые номера, – сказал Мошкин.

Дворник говорил:

– Нет, там и пятьдесят семь. В самом низу.

Мошкин спрашивал:

– А чем она занимается? Есть у них какое-нибудь заведение? Школа? Или редакция?

Нет; оказалось, у госпожи Энгельгардовой не было ни школы, ни редакции.

– Живут своим капиталом, – пояснил дворник.

В квартире госпожи Энгельгардовой горничная очень деревенского вида провела его в гостиную направо от темной передней и просила подождать.

Ждал. Скучал и томился. Рассматривал вещи. Было нагромождено много мебели, – кресла, столы, стулья, ширмы, экраны, этажерки, столбики, на них бюсты, лампы, безделушки, на стенах зеркала, картины, литографии, часы, на окнах занавески, цветы. От всего этого было тесно, душно, темно. Мошкин шагал в тесноте по коврам. Со злобой смотрел на картины, на статуи.

«Тарарахнуть бы все это к черту! Ко всем чертям!» – думал Мошкин.

Но, когда хозяйка вдруг вошла, он спрятал свой голодный блеск, опустил глаза.

Она была молодая, румяная, высокая и, кажется, красивая. Шагала быстро и решительно, как хозяйка в деревне, и при этом неловко помахивала сильными, красивыми, белыми, голыми выше локтя, руками.

Подошла. Подала руку, – полуввысоко, – хочешь, пожми, хочешь, поцелуй. Поцеловал. Нарочно, – со злости и для шуточки. Быстро, громко чмокнул и зубом царапнул, – аж дрогнула. Но ничего не сказала. Пошагала к дивану. Залезла за стол, засела на диван, а ему показала на кресло. Сел. Спросила:

– Это ваше объявление было вчера?

Буркнул:

– Мое.

Подумал и сказал повежливее:

– Мое-с.

И стало досадно. И опять подумал:

«Тарарахнуть бы».

Говорила, – спрашивала, что он может, где он учился, где работал. Так осторожненько подходила, точно боялась раньше времени проговориться и надавать больше.

Оказалось, что хочет издавать журнал. Какой? Еще не решила. Какой-нибудь. Маленький. Ведет переговоры о покупке одного издания. О направлении журнала умолчала.

Он ей может понадобиться для конторы. Но так как в объявлении сказано – педагог, – то она думала, что он учил в гимназии.

Впрочем, если он может вести конторские книги...

Принимать подписку...

Вести переписку по делам конторы и редакции...

Получать деньги с почты...

Заделывать номера в бандероли...

Сдавать их на почту...

Держать корректуру...

Еще что-то...

И еще что-то...

Барышня говорила с полчаса. Довольно бестолково перечисляла разные обязанности.

– Для этих дел надо несколько человек, – сурово сказал Мошкин.

Барышня досадливо покраснела. По ее лицу пробежали жадные гримаски. Она сказала:

– Журнал маленький. Специальный. Для такого маленького предприятия если взять несколько, то им нечего будет делать.

Усмехнулся. Согласился.

– Пожалуй, что и так. У вас не соскучишься.

Спросил:

– А сколько времени я у вас буду занят ежедневно?

– Ну, часов с девяти утра, – это не поздно? – часов до семи вечера, – это не рано? Иногда, если спешная работа, можно и попозже посидеть или прийти в праздник, – ведь вы свободны?

– Сколько же вы думаете платить?

– Рублей восемнадцать в месяц вам будет достаточно?

Подумал. Засмеялся.

– Мало-с.

– Больше двадцати двух не могу.

– Хорошо-с.

И с внезапным порывом злости встал, сунул руку в карман, вытащил оттуда ключ от своей квартиры и тихо, но решительно сказал:

– Руки вверх!

– Ах! – произнесла барышня и немедленно же подняла руки.

Она сидела на диване, очень бледная. Дрожала. Она была большая и сильная. А он – маленький и тощий.

Рукава ее одежды отвисли к плечам, и две протянутые вверх белые, голые руки казались толстыми, как ноги акробатки, упражняющейся дома. И видно было, что у нее хватит силы долго держать руки вверх. И сквозь испуг на ее лице пробивалось выражение значительности переживаемого.

Наслаждаясь ее смущением, Мошкин произнес медленно и внушительно:

– Только двинься! Только пикни!

Подошел к картине.

– Сколько стоит?

– Двести двадцать, без рамы, – дрожащим голосом произнесла барышня.

Порылся в кармане, достал перочинный нож. Разрезал картину сверху вниз и справа налево.

– Ах! – вскрикнула барышня.

Подошел к мраморной головке.

– Что стоит?

– Триста.

Ключом отбил ухо, оббил нос, щеки пооббил. Барышня тихонько ахала. И приятно было слушать ее тихое аханье.

Порвал еще несколько картин, порезал обивку кресел, сломал несколько хрупких вещичек.

Подошел к барышне. Крикнул:

– Лезь под диван!

Исполнила.

– Лежи смирно, пока не придут. Не то бомбой тарарахну.

Ушел. Никого не встретил ни в передней, ни на лестнице.

У ворот стоял тот же дворник. Мошкин подошел к нему. Сказал:

– Что у вас барышня–то странная какая?

– А что?

– Да нехорошо себя ведет. Скандалит очень. Вы бы к ней пошли.

– Коли они не зовут, как же я могу?

– Ну, как знаете.

Ушел. Голодный блеск в его глазах тускнел.

Мошкин долго ходил по улицам. Тупо и медленно вспоминал эту гостиную, и разрезанные картины, и барышню под диваном.

Тусклые воды канала манили к себе. Скользящий свет заходящего солнца делал их поверхность красивой и печальной, как музыка безумного композитора. Такие были жесткие плиты набережной, и такие пыльные камни мостовой, и такие глупые и грязные шли навстречу дети! Все было замкнуто и враждебно.

А зеленовато–золотистая вода канала манила.

И погас, погас голодный блеск в глазах.

Так звучен был мгновенный всплеск воды.

И побежали, кольцо за кольцом, матово–черные кольца, разрезая зеленовато–золотистые воды канала.

Книга очарований
Претворившая воду в вино
Легенда

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Молва предшествовала ему, пророку и учителю. Народ ждал чуда. Рассказы о чудесах передавались из уст в уста. Верили. Мудрые же молчали. Они знали, что народ не мог жить дальше без чуда.

Мал и беден был город, куда пришел учитель в утро того дня, когда молодая чета праздновала свою свадьбу. Друзья и знакомые сошлись на пир. Был зван и учитель, и его мать. Грустен был учитель, и не веселил его пиршественный шум. Печально смотрели на молодых его очи, потому что он знал, что дом их будет пуст.

Он знал, что дом их будет пуст...

Уста Невесты дрогнули сладкою негою, когда упал на них поцелуй Жениха...

Он знал, что дом их будет пуст... Куст алых роз начал осыпаться, пламенея усталым цветом у бедного порога. И, смеясь, шептал коварный искуситель:

– Срывающий розы, бойся острых шипов!

Молодые и прекрасные сидели новобрачные во главе стола, и земная веселость горела в их темных глазах. Тихо сказала невеста учителю, – он сидел рядом:

– Учитель, для моей радости сотвори на свадьбе моей хорошее и не очень страшное чудо.

– У своего сердца проси чудес, – отвечал ей учитель.

Не поняла. Ждала и молящими глазами, улыбаясь невинною улыбкою счастливицы, просила о чуде. И шептала учителю:

– Ведь мы знаем, что ты делал чудеса для других и даже, когда был маленьким, для своей забавы. Ты лепил птиц из глины, и они пели слаще и звонче соловья, и потом ты отпускал их на волю, и они улетали.

– Так, милая, – сказал ей учитель, – мгновенно чудесное явление. Вот была глина, во тьме и молчании лежащая, – и возникла красно поющая птица, – и уже нет ее. И твоя радость придет к тебе.

Опять ждала.

Длился пир, шумны были гости и веселы, и уже все вино было выпито. Требовали вина, и не было его. Мать учителя сказала ему:

– У них нет вина. Они бедные люди. Нехорошо будет, если осудят их гости и скажут: вот была свадьба, и вина не хватило.

Все взоры обратились к учителю. Он встал и вышел тихо на двор к водоему. Омытый дождем, влажен был мощный камнем двор. Вода в водоеме была высока. Последние, редкие капли дождя рябили ее поверхность. Дымно-тусклый свет смоляного факела делал блестяще-багровыми края водоема, а вода казалась тяжелою и черною.

Учитель молчал. Из дома доносились шумные крики и буйный смех упившихся, но все еще жаждущих гостей. Распорядитель пира стоял рядом с учителем у водоема, и там же были родители жениха и несколько девушек, подруг новобрачной. Девушки, из скромности, почти совсем не пили вина: они много плясали, и головы их кружились от их пляски и от чужого опьянения.

– Воды здесь много, – сказал распорядитель пира, – вина же у них нет. Но если ты, учитель, захочешь, эта вода обратится в вино.

– А если я не захочу захотеть? – спросил учитель.

Омрачилось лицо у распорядителя пира, и в глазах его было такое выражение, словно он услышал странные и ненужные слова. А юные девы, подруги новобрачной, восклицали ласково-звенящими голосами:

– Ты захочешь, учитель!

- Покажи нам чудо!
- Мы еще никогда не видели чуда.
- Обрати эту воду в самое хорошее вино.

И с жадным любопытством смотрели они на учителя и на воду и ждали нетерпеливо, захочет ли учитель показать им чудо и удастся ли оно. И они были похожи на курсисток, ждущих эксперимента. Учитель медленно и как бы с неохотой погрузил руку в воду. Тяжело заколебалась вода, и красные отсветы от колеблющегося пламени факельного побежали по ее поверхности. Казалось, что от руки учителя изливается сила, окрашивающая воду, претворяющая ее в вино.

Зарадовались девы и засмеялись весело. Распорядитель пира зачерпнул воду ковшом, отведал ее и сказал:

- Как была вода, так и осталась водою.

Девы смутились. Учитель спокойно сказал:

- Друг мой, вели слугам наполнить чаши эту водою и нести ее гостям. Пусть пьют.

Так и сделал распорядитель пира. Девы же не знали, что им думать, и не могли понять, удалось чудо или нет, или еще надо ждать его. Смущенные, вернулись в дом и ждали, что будет.

Сидящие за столом радостно закричали:

- Вот несут новое вино!
- Его много, - хватит пить до нового дня.
- Будем пить за новобрачных это вино, и за учителя.

И более трезвые тихо передавали друг другу весть, что учитель выходил к водоему, чтобы из воды сделать вино.

Пили. Иные хвалили и думали, что это вино лучше того, которое было в начале пира. Другие говорили, что вино слишком разбавлено водою. И еще иные смеялись и говорили, что это простая вода.

Учитель сидел и молчал.

И вот одна из юных дев налила в свой кубок этой воды, подошла к учителю и сказала:

- Учитель, скажи мне, вино это или вода?
- Смотри сама и пей, если хочешь, - ответил ей учитель.
- Что же мои глаза! и что же я! - говорила дева. - Ангелы стоят вокруг тебя и оберегают тебя, а я их не вижу. Звезды, кружась в небе, поют над тобою, а я не слышу их гимна. Силы четырех стихий стекаются к тебе и опять из тебя истекают дивным потоком, а я его не ощущаю. Что же я! Но скажи, и поверю.

Учитель сказал:

- Пей эту воду с невинною верою, и твое сердце, творящее чудеса, претворит ее в живое вино, крепче которого нет на свете.

Юная дева выпила чашу воды до дна, и великою радостью осветилось ее лицо. Пьяная водою, как вином, крепким и сладким, она плакала от восторга, и восклицала, хваля учителя и пророка, и плясала, кружась и ударяя в ладони. Упившиеся тупо смотрели на ее пляски и хлопали кое-как ладонями, не успевая за быстрым темпом ее кружений. И говорили они:

- Да, славное винцо. Учитель таки знает толк в вине.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Распорядитель пира и старые трезвые гости не понимали, чему радуется упившаяся этой простою водою девушка, и улыбались ее слезам и ее восклицаниям. Новобрачные, выпившие немало, дремали и посматривали на тяжелый темный занавес над входом в опочивальню: он, молодой муж, уже почти ничего не видел и не слышал, она, молодая жена, была в досаде на то, что учитель не сделал для нее чуда, и на то, что юная подруга ее веселится чему-то в час, когда вся веселость должна принадлежать только ей.

Она не видела чуда, и дом ее будет пуст...

Учитель тихо оставил пиршество и с матерью своею удалился в тот дом, где его приняли на ночь. Восторженная дева шла за ними, и пела, и восклицала, и плясала, и, забегая перед учителем, падала лицом на землю и целовала учителю ноги, и опять плясала, и смеялась, и плакала. Когда закрылась за учителем дверь дома, восторженная дева с воплями радости выбежала из города, и всю ночь лежала на мокрой и теплой траве у ручья, и плакала от несказанной радости. Сладко и звонко пел над нею соловей, и благоухали белые и алые розы, и звезды вели над нею свой вечный хоровод под музыку высоких сфер.

Утром вернулась в свой дом, навеки обрадованная и навеки опечаленная радостью и скорбью, широкими, как небесные высокие сферы. Пророчествовала об учителе и пророке, смеясь и плача. Говорили о ней:

– Безумная!

Жалели. Но и завидовали, – знали, что она видела великие тайны и дивные чудеса, что перед нею открывалось небо, что с нею говорил Бог.

Мудрые девы

В украшенном цветами и светлыми тканями покое Девы ждали жениха. Их было десять, они были юны и прекрасны, и были среди них Мудрые девы, и были Неразумные.

Вечер отгорел и погас, как погасает в небе каждый вечер. Дыхание темно-синего холода простерлось над землею, и далекие, вечные звезды начали свой медленный хоровод. Девы приготовили все, что надо было для брачного пира, и сели за стол. Одно место среди них было пусто, – то было место для жениха, которого ждали, но которого еще не было здесь.

Десять светильников горели перед Девами. На белой скатерти стола стояли сосуды с вином и хлебы.

Тихи были голоса беседующих Дев. Черная ночь молчала в саду за окнами украшенного брачного чертога, – а издали доносились откуда-то веселые песни, смех, музыка, шумные восклицания. Там, недалеко от дома, где ждали Девы жениха, веселились и пировали Девушки, юные Женщины и праздные Молодые люди, – и всем им не было никакого дела ни до жениха, приходящего во тьме и тайне, ни до невесты, таинственно зажигающей высокий свой светоч.

Они, беспечные, плясали, и пели, и смеялись, и славили сладостные очарования буйной жизни. В их песнях говорилось о том, что жизнь дается каждому только один раз, что юность пролетает быстро, и что надо торопиться вкушать ее восторги и услады, пока еще кровь горит избытком стремительных сил. Тихо беседовали Девы:

- Теперь уже скоро придет жених.
- Да, мы скорождемся его.
- Как они там шумят!
- Как безумны их песни!
- Как грубо звучит в ночной тишине их хохот!
- Жениху будет неприятен этот шум.
- Жених добрый, – он не осудит.
- Он уже скоро придет.

- Не он ли это вошел в сад?
- Не он ли стоит у порога?
- Не он ли заглянул к нам в окно?
- Не пойти ли нам к нему навстречу?
- Нет, в саду пусто и тихо.
- У дверей нет никого.
- Только черная ночь смотрит к нам в окна.

Длилась ночь. Ждали Девы. Беседовали тихо.

Все громче и веселее становились голоса пирующих. Жених не приходил.

- Его все еще нет, – говорили опечаленные Девы.
- Он придет в полночь, – говорили они, утешая сами себя.
- Будем ждать.
- Как долго!
- Как скучно!
- Не надо роптать на Жениха.
- Он придет.
- Надо ждать, – он утешит нас.
- Как долго ждать! Уже и полночь прошла.

Стали роптать Неразумные девы. Они говорили:

- Мы здесь сидим и ждем, а он забыл о нас.
- Может быть, и не придет.
- Может быть, он пирует с другими.
- Зачем же мы ждем его, глупые?
- Как весело там!
- Не смешно ли, что мы сидим здесь, за накрытым столом, а сами не пьем, не едим, и не радуемся, и ждем Жениха, который не приходит, хотя уже прошли назначенные сроки!
- Не пойти ли нам туда, где так весело?

– Подождите, – говорили Мудрые девы. – Жених придет. – Он стукнет в дверь, станет на пороге, посмотрит на нас благостными очами, – и тогда начнется у нас веселье, более светлое и радостное, чем то, которому вы завидуете.

Но уже не захотели Неразумные девы ждать дальше. Они говорили:

– Мы пойдем туда, где весело. Идите и вы с нами. Если Жених не пришел вовремя, то он может сходить за нами и туда, где мы будем. Можно оставить ему на столе записку.

И взяли Неразумные девы свои светильники и ушли, – шесть Неразумных дев. Остались четыре Мудрые девы. Он сели близко одна к другой и тихо беседовали о Женихе и о тайне и ждали.

Но Жених не пришел. Тишина и печаль томились и вздыхали в украшенном брачном покое, где Мудрые девы проливали тихие слезы, сидя за столом перед догорающими светильниками, перед нетронутым вином и неначатым хлебом. Дремотные смежались порою очи, и грезился Мудрым девам Жених, стоящий на пороге. Радостные, вставали они со своих мест и простирали руки, – но не было Жениха с ними, и никто не стоял на пороге.

Догорели светильники, побелели окна, птичьими щебетаньями засмеялся утренний сад, – и поняли Мудрые девы, что Жених не придет. Они склонились над столом и плакали долго. Чем ярче пылала заря, тем бледнее становились их щеки.

Тогда сказала мудрейшая из Дев:

– Сестры, сестры! вот уйдем мы домой и потом станем вспоминать эту ночь. И что же мы вспомним? Мы ждали долго, – и Жених не пришел. Но, сестры, и Неразумные девы, если бы они были с нами в эту ночь, не то ли же самое сохранили бы воспоминание? На что же нам мудрость наша? Неужели мудрость наша над морем случайного бывания не может восставить светлого мира, созданного дерзающею волею нашею? Жениха нет ныне с нами, – потому ли, что он не приходил к нам, потому ли, что, побыв с нами довольно, он ушел от нас?

Радостны стали Мудрые девы и перестали плакать. Они налили вино в свои чаши, и разломали хлеб, и ели, и пили, и веселились. И говорили они:

- Жених ушел от нас рано.
- Краткое время побыл с нами Жених, – но сердца наши утешены и кратким его пребыванием с нами.
- Жених ушел, но он – наш возлюбленный Жених.
- Он любит нас.
- Он оставил нам золотые венцы на головах наших.

Окончив свою радостную трапезу, встали Мудрые девы из-за стола. На пороге брачного чертога остановились они все четыре, обнимая одна другую, и простерли с прощальным приветом свои руки вслед уходящему Жениху. Глаза их были полны слез, и лица их были бледны, и губы их улыбались печально.

В это время окончился шумный пир, и шесть Неразумных дев возвращались домой. Остановясь у порога, где стояли Мудрые девы, Неразумные смеялись, дразнили Мудрых и спрашивали:

- Дождались Жениха?
- Весел был ваш пир с женихом?
- Что же вы теперь одни и жениха не видно с вами?

Мудрые девы ответили им кротко:

- Жених ушел.
- Мы его провожали.
- Вот уже белый хитон его мелькнул в последний раз из-за деревьев и не виден больше.
- В ту сторону, где восходит солнце, ушел Жених.

Не верили им Неразумные девы, громко смеялись и говорили:

- Вам стыдно сознаться, что Жених не пришел к вам.
- Чем вы докажете, что он был с вами?

– Покажите нам его подарки.

Мудрые девы отвечали:

- Он подарил нам золотые венцы.
- Он сам надел их на наши головы.
- Разве вы не видите, как сияет золото наших венцов над нашими головами?

Неразумные девы, – пять из них, – смеялись и говорили:

- Никаких нет венцов на ваших головах.
- Вы сами себя уличаете вашею выдумкою.
- Должно быть, во сне видели вы, как приходил к вам Жених.
- Напрасно вы проскучали всю долгую ночь, – идти бы вам лучше было за нами.

И ушли от порога пять Неразумных дев, издеваясь над Мудрыми девами и всячески понося их. Одна же из них осталась у порога. Она упала к ногам Мудрых дев, покрытым холодною утреннею росой, и целовала ноги Мудрых дев, и плакала горько, и говорила:

- Счастливые, счастливые Мудрые девы! Как завиден ваш высокий удел! С вами пировал Жених, которого не увидели мои очи и очи моих безумных подруг. На ваши мудрые головы он своими руками надел золотые венцы, светло сияющие, как четыре великие солнца. На ваших руках – святыня его прикосновений, на ваших губах – благоухание его поцелуев. О я, Неразумная! О я, несчастная! Умереть бы мне у ваших ног, лобзая ступени, по которым к вам восходил Жених!

Мудрые девы подняли свою прозревшую в этот ранний час сестру, и целовали ее, и утешали нежно. Они говорили ей:

- Милая сестра, ты увидела на головах наших венцы, которых не могли увидеть Неразумные девы.
- Мудростью и ведением тайны наделил тебя Жених.
- Венец, который был на голове Жениха, он оставил нам для той, которая придет от неразумия к мудрости.

Коснулись Мудрые девы нежными пальцами ее головы и сняли с нее поблекшие цветы буйного веселья. Говорили:

- Вот мы надели на тебя, милая сестра, золотой венец.
- Как ярко сверкает твой венец в лучах восходящего солнца!
- Возлюбленный Жених, подаривший тебе этот блистающий венец, и сам придет к тебе, когда настанет время.

Одна за другою, по высокой лестнице брачного чертога и по дорогам сада, ступая на те места, которых касались ноги Жениха, шли пять Мудрых дев, увенчанные золотыми венцами, сияющими, как великие светила. С глазами, полными слез, и с сердцами, объятами пламенем печали и восторга, шли они возвестить миру мудрость и тайну.

Страна, где воцарился зверь

На полуистлевших от времени листах папируса начертано много сказаний о делах и людях, давно отошедших в неизменную вечность. И вот одно из них. Оно несвободно от неясностей, причина которых, по всей вероятности, в том, что от целой рукописи сохранились лишь обрывки, и смысл целого пришлось восстанавливать, пользуясь аналогиями. Самое название страны неведомо нам, и конец рассказа не сохранился. В тех частях истории, которые носят фантастический характер, не совсем ясно, говорит ли древний летописец иносказательно или и сам верит рассказу о чудесном превращении жестокого юноши.

Надлежало выбрать царя. И старейшины решили предоставить выбор судьбе. Пред наступлением ночи вынесено было за городские ворота золотое, драгоценными изумрудами и сапфирами украшенное яйцо, и положено при дороге в траву. Кто придет из чужой страны, издалека, и поднимет затаенное в траве золотое яйцо, тот и будет царем в городе. Был ли таков обычай того места или на этот раз особые гадания указали старейшинам города такой способ выбора – не знаю. Но, по соображении некоторых обстоятельств события, предпочитаю второе объяснение.

Блистающий и светлый взшел над странюю пламенеющий в небе Дракон, которому люди дают имя дневного светила, красного солнца, – блистающий и светлый, как и надлежало быть тому дню, когда великий воцарился над тою странюю владыка. Старейшины вышли к городским воротам, а за ними и весь народ, – и все в благоговейном молчании ждали, кого укажет им судьба в цари. И долго дорога была безмолвна и пустынна, словно совещались великие боги или демоны той страны и колебались долго, на ком им остановить свой чудесный выбор. И наконец решили.

По дороге, приближаясь к городу, шли два отрока, едва прикрытые грубыми и рваными одеждами. Один из них был смугл, тонок и черноволос; на голове другого вились рыжие кудри, сиявшие золотом в златопламенных взорах воздымавшегося на гору небес Змея. Тело рыжего отрока было оливкового цвета, щеки его пламенели румянцем и глаза горели ненасытным желанием. Впрочем, лица обоих отроков были так сходны, как будто смуглое лицо одно отразилось в дивно пламеневшем зеркале и возник из-за чародейного стекла румяный и златоволосый двойник.

Весело разговаривая друг с другом и беспечно смеясь, отроки уже миновали затаенное в траве золотое яйцо. И приближались к городским воротам.

Гулкий тысячеустый ропот толпы вдруг остановил их. Испуганные и смущенные, стояли отроки у края пыльной дороги и озирались вокруг, стараясь понять, на что смотрит и дивится все это шумное множество. Смуглый отрок первый увидел яйцо. И подошел к нему.

– Смотри, Метейя, какая красивая в траве лежит игрушка, – сказал он своему другу.

И поднял яйцо. Рыжеволосый Метейя подбежал к нему и, с жадностью простирая к смуглому отроку руки, воскликнул просящим голосом:

– О, миленький Кения, отдай, отдай мне это золотое яичко! Дай, дай мне его.

Засмеялся Кения и отдал яйцо Метейе, говоря:

– На, возьми. Пусть оно будет твоим, если так тебе его захотелось.

И зардовался Метейя. Подбрасывал яичко и любовался переливною игрою многоценных камней на нем.

Тогда вышли из ворот старейшины городские, и поклонились отроку Метейе, держащему в руках золотое яйцо, и нарекли его царем того города.

Возник было в народе спор, кому быть царем. Некоторые легкомысленные юноши говорили, что на черноокого Кению надлежит возложить царскую диадему. Говорили:

– Черноокий отрок поднял яйцо наше и потом по своей воле дал его рыжему и жадному мальчишке. Черноокому и прекрасному Кении надо быть нашим царем, он щедр и великодушен, как и подобает быть царю.

И прекрасные девы, подстрекая к непокорству любезных им юношей, шептали:

– Золотую диадему на смоляно-черные волосы Кении возложить, – как это будет красиво!

Но старые люди говорили:

– Царь не тот, который отдает, а тот, который требует и берет. Владыка нужен городу, а не мягкосердечный отрок с женственною душою.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
И когда немногие приверженцы Кении вздумали упорствовать и длить бесполезные, но смущающие толпу споры, их связали, обезглавили и тела их сожгли.

Так воцарился в той стране Метейя. Сказал вельможам:

– С другом моим Кениею шли мы долгим и трудным путем. Черные очи милого моего друга приметили в густой траве мое царское яйцо. Верным и преданным другом моим был и пребудет Кения, и место его да поставится самое первое, по правой стороне от моего царского блистающего и украшенного ложа. На друга моего Кению самые богатые и красивые, какие только найдутся в городе, наденьте одежды, и на руку ему дайте самое дорогое и красивое кольцо.

И сделали так, как повелел царь Метейя. По правой стороне от царя сидел отрок Кения, но не возгордился. Черные глаза его мерцали, как две погасшие, но все еще прекрасные звезды. Уста его алели, как две розы, как две яркие розы, над которыми рыдает соловей. И золотое кольцо с алмазом сверкало на его руке, как вечерняя звезда на багрово-дымном небе заката. И были глаза его без сияния, уста его без улыбки, и руки его не радовались.

Черными и спокойными смотрел он на царя Метейю глазами, и стало грустно царю Метейе, и однажды спросил царь Метейя друга своего Кению:

– Милый друг мой Кения, не завидуешь ли ты мне?

Кения склонил низко голову, как надлежит делать тем, к кому обращено царское высокое слово, и сказал спокойно:

– Великий царь, я тебе не завидую.

Царь нахмурился и спросил снова:

– Милый Кения, не хочешь ли ты быть царем?

И ответил Кения:

– Я не хочу быть царем.

– Кения, ты, может быть, думаешь, – продолжал спрашивать царь, – что ты поднял яйцо и потому имеешь право быть царем?

– Я поднял мое яйцо, – спокойно ответил Кения, – и подарил его тебе, царь. Теперь ты можешь владеть им и царствовать спокойно, – никто не отнимет его от тебя.

Замолчал царь Метейя и не знал, что еще спросить. Но черная досада томила царское сердце. И склонился к царю старейший и хитрейший из вельмож, седобородый Сальха, и стал шептать царю в уши злые и коварные речи:

– Великий царь, сокровище и утешение наше, – шептал Сальха, – твой друг Кения, которого за его красоту так похваляют неразумные юноши и любострастные девы, тот Кения, которого ты, по своей царской милости, возвел на высочайшее место и посадил по правую сторону от твоего пресветлого царского ложа, – он легкомысленно и дерзко называет своим яйцо, которое было у тебя в солнечно-пламенеющих перстах в то время, когда мы вышли из-за городской ограды и, преклонившись пред твоим величием и твоею дивною красотой, нарекли тебя нашим владыкою. Своим называет он яйцо, которое могущественные боги этой страны вложили в твои державные руки.

Царь Метейя покраснел от гнева, и глаза его засверкали нестерпимым пламенем. Гневные обратил он взоры на друга своего Кению, но не смутился смуглый, черноокий отрок и пребывал безмолвным, неподвижным и спокойным, как черная ночь без зарниц и без звезд.

И приблизился к царю Метейе другой вельможа, творящий в той стране верховный суд, мудрый и злой Ханна, преклонился пред царем и стал шептать ему в уши столь же злые и коварные речи, как и речи коварного Сальхи:

– Великий царь, красотой своею затмевающий прекраснейшие светила небесные,

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
светлым разумом своим и дивными доблестями превзошедший мудрейших и славнейших в стране нашей и в иных ближних и дальних странах, – так шептал царю злой Ханна, – друг твой Кения, возведенный тобою и щедро награжденный за ничтожную услугу, дерзает думать, а может быть, даже и говорит, что он лучше тебя, потому что он отдал тебе твое царское яйцо и таким образом превзошел тебя в щедрости и великодушии. Друг твой готов стать твоим врагом, великий государь. Воистину, жестокого достоин наказания тот, кто злоумышляет против великого нашего царя.

Дрожа от гнева, сжимая царский посох в трепетных руках, густо покрытых рыжими волосами, царь Метейя спросил друга своего Кению:

– Скажи мне, Кения, кого из нас двоих считаешь ты лучшим и более достойным почитания?

– Великий царь, – спокойно ответил Кения, – люди почитают тебя как своего владыку и поклоняются тебе, и я с ними. Я – твой верный слуга и раб и пребуду тебе неизменно верным и послушным.

В гневе царь Метейя встал и воскликнул:

– Боги возвели меня на царский престол, потому что я лучше всех людей в этой стране и во всех других, и лучше тебя.

И ответил Кения:

– Царь, ты и я – отроки, ничего еще не совершившие на земле, достойного похвалы или порицания. Кто из нас лучше другого, никто этого не знает и не скажет.

– Так, – удивляясь дерзости своего друга, тихо сказал царь Метейя, – и в самом деле не думаешь ли ты, что ты лучше меня, своего царя и владыки?

– Великий царь, – возразил Кения, – я этого не думаю. Я думаю, что мы оба одинаковы. Недаром выросли мы вместе и так похожи один на другого лицом. Когда на румяной заре утренней или при багряно-красном небе заката я наклоняюсь к ручью, чтобы утолить мою жажду, мне кажется, что твое, о царь, лицо с приветливою улыбкою наклоняется ко мне и твои губы тянутся навстречу моим для сладостного братского целования. Различаясь от меня цветом волос и кожи, пламенея румянцем, который у меня скрыт под смуглым цветом моего тела, ты так похож на меня, как будто отраженное в пламенеющем зеркале мое изображение. Ты прекрасен, как я, и так же, как я, щедр, милостив и великодушен.

И тогда все вепьможи подняли шумный, негодующий крик, обвиняя Кению в том, что он осмелился приравнять себя к великому владыке. Яростью наполнилось сердце царя Метейи, и он приказал нещадно бичевать друга своего Кению смолистыми, гибкими плетями.

Когда голый и связанный лежал перед царем Кения, стенья и вопя от нестерпимой боли, и багровыми полосами покрывалось его стройное, прекрасное тело, и горячие капли его крови брызгали в лицо царю Метейе, в это время свирепая радость истязаний вошла в сердце юного царя, – и он громко смеялся и радовался воплям и мучениям друга своего Кении. И все множество предстоящих смеялось вместе с ним. Возопил тогда Кения:

– О, великий царь, вспомни, что это я поднял и отдал тебе твое царское яйцо, – вспомни и жалься надо мною!

В ответ ему закричал диким, громким голосом разъяренный царь:

– Помню, Кения, все помню, – и чтобы ты вперед не величался предо мною, вот, повелеваю верным слугам моим засечь тебя до смерти.

Исполняя повеление царя, били черноокого Кению до тех пор, пока не затихли его стоны, – и потом вынесли его тело и бросили у порога царского чертога.

С того дня ненасытною жестокостью напиталось сердце царя Метейи, и радостны стали ему вопли истязуемых. Всякого, кто говорил слова сожаления о милом отроке Кении или слова укоризны жестокому и неблагодарному царю, всякого приказывал он приводить к подножию его престола и мучить до смерти. И веселился.

Потом, пресыщенный зрелищем изуродованных тел, опьяненный запахом горячей, изобильно пролитой крови, упивался он винами и забавлялся с плясуньями, очаровательницами змей, гадательницами и другими распутными женами и девами. Вельможи и старейшины городские не останавливали его и пировали с ним вместе, радуясь, что царь не вникает в дела правления и не препятствует им, алчным и жестокосердным, обогащаться на счет вдов, сирот и голодающих от неурожая. Развратные сыновья вельмож пировали с царем и забавляли его своим бесстыдством.

Настали тогда в стране той дни великого плача и смятения. Жены, девы и юноши тайно сходились в лесах по ночам, сожигали богам многие многоценные жертвы и страшными чарами вызывали и заклинали умерщвленного отрока Кению. И возник из могильного мрака умерщвленный жестокими черноокий отрок.

Однажды, когда царь пировал со своими вельможами и неразумными юношами, пришел к нему Кения. И ужаснулись пирующие.

На вечернем небе догорала быстрая заря. Долины полны были мглистым туманом. Совсем белая на молочно-алом зареве заката светилась первая звезда, – и откинулась вдруг тяжелая завеса царской двери, и темный на светлом зареве зари явился и стал черноокий, черноволосый, весь смуглый, в белой короткой одежде, обнажавшей прекрасные руки и ноги, Кения. Кто-то, бессмысленно-пьяный, еще горланил, повалясь щекою на стол, – но безмолвием и ужасом зачарованы были обращенные на Кению взоры пировавших. Звякнула о кипарисные доски пола выпавшая из чьей-то руки золотая чаша и покатила тихо, дугообразный чертя по полу путь, между царем и Кениею, и темная, багряная, как кровь, струя вина коснулась нагих ног восставшего из могильного мрака отрока.

Тихо подошел Кения к царю и сел рядом с ним, по правую сторону, на то место, где сидел раньше и куда еще никого не посадил царь. Царь спросил, трепеща от страха и от гнева:

– Ты жив, Кения?

И ответил ему Кения:

– Я встал и пришел к тебе. Некогда вместе с тобою шел я в этот город, и были мы оба радостны и невинны. Потом, отдав тебе мое яйцо, рядом с тобою сидел я, незнающий и простодушный. Но вот ярость высокой царской власти распалила твое сердце и разделила нас, и тяжкие по твоей воле перенес я муки, ныне пришел я к тебе знающий и мудрый и наделенный силою, которой у тебя нет, хотя ты и царь великой страны. Я поднял многоценное яйцо, положенное благими и мудрыми и охраняемое неразумными и злыми. Оно мое, и мое все то, что соединено с его обладанием. Но ныне, изведав, как ярит человека высокая власть, я, Кения, тот, на кого дивно похож лицом царь Метейя, я не хочу быть царем. Да не будет, о, великий царь, между нами предмета разделения и раздора. Поделится мирно, – ты оставь себе многоценные изумруды и сапфиры царской власти, а мне отдай тяжелое золото, моими руками поднятое, мою кровью омытое.

Дикий гнев зажег царские взоры, – и возопил царь:

– Крамольную слышу речь, мятежный вижу взор непокорного раба. Где же вы, мои верные слуги? Возьмите мятежника, многими измучьте его муками, бейте его перед очами моими, бейте его гибкими смолистыми плетями и кнутами из воловьей кожи, залейте его горло растопленным свинцом, вырвите его черные колдовские глаза.

Так все сделали, как повелел жестокосердно усердным рабам их жестокий царь. Страшным голосом вопил истязуемый отрок. Выше перистых облаков возносились его пронзительные вопли. Выше небес взлетали бы они, если бы над землю простирались небеса.

Замучили до смерти, выволокли изуродованный труп за городскую ограду и бросили на гноище. А вдалеке в это время, чуя свежую кровь, выли трусливые шакалы.

Пели в царском чертоге хриплыми с перепоя голосами веселые и непристойные песни. Плясали перед царем голые блудницы. Царь хохотал и тонким хлыстом подстегивал плясуний, чтобы вертелись проворнее. Полупритворные визги голых блудниц радовали его.

И опять длились дни жестокостей и злодеяний. И опять в глухих лесах заклинали страшными ночными чарами замученного отрока. И опять возник Кения, и опять пришел в царский чертог. Изрубили его на куски и бросили его собакам.

И когда опять пришел Кения, сожгли его вместе с тысячью плакавших о нем юношей и дев. Всех загнали в один дом, обложили его сухим хворостом, облили хворост смолой и зажгли. Радостно-яркое, высоко взметнулось пламя, обливая багровою кровью ночные облака, и дикий вопль тысячи сожигаемых разносился далече окрест, пугая свирепых тигров, рыщущих в прибрежных тростниках в поисках за живую добычею. А люди, угождая свирепому своему владыке, плясали вокруг объятого пламенем дома.

Но опять пришел Кения. И ужаснулся разъяренный царь. Спросил непрестанно восстающего отрока:

– Или бесконечными хочешь ты сделать твои и мои муки?

Улыбаясь, возразил Кения:

– Твоя воля, великий царь. Отдай мне мое золото и будешь покоен.

– Не отдам, – возопил царь, – снова и снова предам тебя несказанным мучениям, доколе не утомишься страданиями, доколе не уйдешь в вечную тьму!

– Царь Метейя, – возразил Кения, – уже не могу я сойти с того круга непрестанных возвращений к тебе, на который поставили меня верховные силы. Или отдай мне золото моего яйца, или своими зубами загрызи меня, пожри меня, как дикий зверь пожирает добычу, которую подстережет в пустынном месте. И станешь тогда зверем, но зато победишь меня, и к тебе, зверю, уже я не приду никогда.

Поник головою царь Метейя. Долго думал. Наконец сказал:

– Да будет так. Я – царь, и мне надлежит победить тебя какою бы то ни было ценою. Лучше быть зверем, побеждающим и торжествующим, чем человеком, который уступает и отдает свое.

Засмеялся черноокий Кения. Тогда дивное превращение в один миг свершилось с царем. Все тело его покрылось густою рыжею шерстью, такого же цвета, какими были у Метейи волосы. Гибким, как у бенгальского тигра, стало тело Метейи, опустилось на четвереньки, – взметнулся внезапно выросший напряженный хвост, – острые когти явились на руках и на ногах, обратившихся в огромные страшные лапы. Прекрасная, страшно изменилась голова: челюсти стали огромны, и ужасные во рту засверкали клыки, белые, изогнутые, острые. Зеленые огни зажглись в округлившихся глазах Метейи. Яростно вопиющий голос царя Метейи стал рыканием дикого зверя, наводящим ужас на отважнейших мужей. Проворным, могучим прыжком бросился обращенный в зверя Метейя на Кению и, радостно мурлыча и ворча, стал пожирать его сладкую плоть, дробя зубами его кости, и трепетно прядали косматые звериные уши, внимая последним воплям Кении.

Пожрал друга своего царь Метейя, обратившийся в зверя. Вельможи и старейшины радовались и славили царя Метейю. Говорили они, упоенные злобною радостью:

– Дивное чудо сотворили великие боги в знак милости к нашей стране. Возлюбленному царю нашему Метейе дали они грозный облик зверя, чтобы его страшные когти и могучие челюсти сокрушали кости его врагов, как хрупкий, хрустящий тростник.

И водили зверя по улицам, на страх трепещущим врагам. Блестящею диадемою увенчана была голова зверя, алмазное ожерелье висело на его шее, яркие яхонты и блистающие изумруды сверкали в рыжей звериной шерсти. Благоуханными цветами нагие девы осыпали путь зверя, – и облит был жаркою кровью его страшный след. Народ повергался ниц перед высоким зверем, и зверь выбирал себе добычу среди покорно-склоненных и, нежные, пожирал тела юношей и дев.

Темен конец повествования. Дева с горящим углем в груди (может быть, следует читать «дева с пламенным сердцем») умертвит зверя, – так обещали ночные гадания в тайном лесу. Но был ли умерщвлен зверь? Освободились ли из-под ужасной власти

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
свирепого зверя трепетавшие перед ним люди? Неизвестною осталась судьба страны,
где воцарился зверь, и самое имя страны поглощено забвением.

Очарование печали

Сентиментальная новелла

Сначала всё совсем так же, как и в старой сказки.

Молодая, прекрасная, кроткая королева скончалась. Оставила дочь, столь же прекрасную. Король Теобальд через несколько лет взял новую жену, красивую, но злую. Себе – красивую жену. Дочери – злую мачеху.

Новая королева, красавица Мариана, притворялась, что любит свою падчерицу, прекрасную королевну Ариану. Она обращалась с нею ласково и кротко, тая в злом сердце кипучую злобу. Злоба её распалялась тем, что королевна Ариана была так прекрасна, как бывают прекрасны юные девушки только в сказках и в глазах влюбленных и соперниц.

Выросла королевна Ариана, и далеко разнеслась молва и слава о дивной её красоте, и приезжали к ней свататься многие королевичи и принцы, влюбленные в нее по рассказам путешественников и поэтов, и по её портретам, и, посмотрев на неё, влюблялись еще больше. Но ни одному из них не отдала прекрасная Ариана своей любви, ни на кого не смотрела с выражением большей благосклонности, чем та, которая подобала каждому высокому гостю по его достоинству и по заветам гостеприимства. И распалялась злоба злой мачехи.

Многие рыцари и поэты той страны, и многих иных стран, и даже пришедшие издалека, привлеченные шумною молвою и славю о прелестях королевны Арианы, томились и вздыхали о ней, и мечтали, безнадежно влюбленные, слагали ей песни, и носили её цвета, черный и алый, и шептали ей робкие признания, – но никого из них не полюбила прекрасная Ариана, и на всех равно благосклонно смотрели её отуманенные печалью глаза. И разгоралась лютая злоба злой мачехи, и решила Мариана погубить свою падчерицу.

Все совсем так, как и в сказке.

Говорила Мариана верной служанке, Бертраде, оставшись с нею наедине в своем покое:

– Я – прекрасна, но Ариана – прекраснее меня, и не понимаю, почему. Щеки мои румяны, как и у неё; черные глаза мои блистают, как и у неё; губы мои алы, и улыбаются так же нежно, как и у неё; все черты моего лица так же, хороши, как и у неё, и даже красивее; и волосы мои черны и густы, как и у неё, и даже немного длиннее и гуще. Я высока и стройна, как и Ариана; у меня такая же высокая грудь, как и у неё, и тело мое так же бело, и кожа моя так же нежна, как у Арианы, и даже нежнее и белее, потому что я не хожу к бедным под жгучими лучами солнца, и под дождем, и под вьюгою, и не отдаю своего плаща встречному старому нищему, и своих башмаков бедному оборванному ребенку, и не улыбаюсь в грязных избах, и не плачу о нищих дома, как Ариана. И она все-таки прекраснее меня.

– Ты прекраснее королевны Арианы, милостивая госпожа, – сказала коварная, хитрая Бертрада, – только глупые юноши и поэты восхищены добротой королевны, и умильно-печальную улыбку её принимают за очаровательное явление красоты. Но разве поэты и юноши понимают что-нибудь в красоте!

Но не поварила Мариана, и тосковала, и плакала. И говорила:

– Извела бы её, ненавистную. Но какое мне в том утешение? Память о красоте её пережила бы её, и люди говорили бы, что вот прекрасна королева Мариана, но покойная королевна Ариана была прекраснее её. И во много раз увеличила бы несправедливая молва людская прелести ненавистной девчонки.

Тогда Бертрада, склонясь к госпоже своей, сказала ей тихо:

– Есть мудрые и вещие люди, которые знают многое. Может быть, найдутся чародеи или чародейки, которые сумеют перевести красоту королевны Арианы на тебя, милая госпожа.

Так говоря, Бертрада думала о матери своей, старой ведьме Хильде, которая жила

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
уединенно, чтобы никто при дворе короля не знал, что мать Бертрады – колдунья.

Со злостью надеждою посмотрела королева на Бертраду, ж спросила:

– Не знаешь ли ты таких?

– Поищу, милая госпожа, – ответила лукавая служанка – я так верна тебе, что для тебя готова и в ад спуститься, и заложить душу свою тому, кто зарится на этот ценный товар.

Злая королева дала Бертраде денег и многие подарки, – злое сердце верило другому, столь же злему и коварному сердцу.

Прекрасная королева Мариана вышла в сад высокого королевского замка. Замок стоял за городом, на краю плоской горы, и далеко простершаяся внизу долина представляла взорам королевы очаровательный вид. На минуту невольно залюбовалась Мариана туманно синевшими далями полей, замкнутых далекой оградой леса, – и мирным течением реки, плавно уносящей на своих волнах и богато изукрашенные галеры, и утлые челноки, – и кудрявыми дымами деревень, таких красивых отсюда, сверху, где не видна грязь неряшливых, смрадных улиц.

Но вдруг вспомнила королева, что Ариана стоит на башне, высоко над садом, дворцом и над нею, гордою Марианою, стоит, подставляя прекрасное, печальное лицо лобзаниям вольного ветра и золотого солнца, и смотрит на безмерные дали, с которых веет на нее печаль полей и деревень, – стоит, и смотрит, и плачет, может быть. И потемнели королевины прекрасные очи, и завистливою злобою исказилось её лицо.

Вот увидела королева влюбленного в Ариану принца Альберта, одного из самых упорных искателей руки и любви молодой королевны. Третий раз возвращался Альберт ко двору короля Теобальда, и каждый раз жил все дольше и дольше. Но не склонялась на его мольбы прекрасная Ариана. Теперь принц Альберт стоял в тени дуба, выросшего над краем мрачного обрыва, и смотрел не отрываясь вверх.

Королева подняла глаза по направлению его взора и увидела Ариану.

На высокой башне, опершись рукою о сложенный из громадных камней парапет, стояла Ариана, и смотрела вдаль, вся облитая горячим светом пламенеющего в небе светила. Ветер взвивал легкое покрывало на плечах королевны, и печальны были устремленные вдаль взоры.

Королева Мариана стояла, и насмешливо смотрела то на Ариану, то на Альберта. Наконец влюбленный принц заметил присутствие королевы. Он прервал милое ему созерцание весьма неохотно, но ничто в его наружности и обращении не выдало того, как неприятно было ему отвести глаза от милого образа, как тягостно было ему заговорить и нарушить этим полное восторгов и очарования молчание внизу, в зеленеющем саду, так сближавшее его с молчанием и печалью там, на высоте надменной башни, где стояла Ариана.

– Как настойчивы и неутомимы влюбленные! – говорила королева, когда принц Альберт, склоняясь перед нею, целовал её руку. – Милый Альберт, вы готовы стоять целыми днями, любуясь на прекраснейшую из земных дев.

– Прекраснейшую после вас, милая Мариана, – отвечал Альберт.

Льстил ей, чтобы снискать её расположение. Так всегда нежна была, по-видимому, королева со своею падчерицею, – и казалось влюбленному принцу, что счастье молодой королевны заботит сердце мачехи. Льстил ей, чтобы замолвила за него ласковое слово у королевны.

Улыбнулась Мариана, и не поверила ему.

Вспомнила, как очарован был, в первый свой приезд, её красотою принц Альберт. Пока не увидел юной Арианы. И перед девственною красотою Арианы в его глазах померкла красота королевы. Так бывало и с другими. Не раз.

– Что делает там Ариана? – спросила королева улыбаясь. – Моя милая дочь любит подниматься на эту башню, и стоит там подолгу. У меня бы голова закружилась. И

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
ветер такой надоедливый. И что она там делает!

– Ариана любит восходить на высоту, – ответил влюбленный принц, – на высоту, где открываются широте горизонты, где смолкают случайные шумы, – на высоту, с которой равно малыми и ничтожными кажутся и надменные чертоги, и лачуги бедняков. И от широких далей, и от высокого неба веет на Ариану очарование печали. И она сходит к нам, как высокое явление красоты, и очарование печали на её лице.

– Очарование печали, – тихо повторила королева.

И продолжал влюбленный принц Альберт:

– Нет красоты без очарования. Даруя человеку прекрасное лицо и прекрасное тело, природа точно облакает его неживою личиною, но, как в гробе, спит живая красота в теле и в лице, способных к проявлению красоты и даже, по-видимому, прекрасных, – спит до тех пор, пока не придет неведомая очаровательница и не разбудит спящей красоты, одарив её каждый раз новым очарованием.

Замолчал Альберт, словно смущенный чем-то. Кончая его мысль, сказала королева:

– Так, милый Альберт, блистательнейшая в мире красота ничто, если она лишена какого-то неведомого очарования?

– Да, – сказал влюбленный принц.

Омрачилось лицо королевы тоскою и гневом. И сказала королева Мариана:

– Я – прекраснейшая из жен, но вам, милый Альберт, неведома тайна моего очарования.

Отошла от него. Он опять поднял глаза на высокую башню, где все еще стояла Ариана, не замечая ни мачехи, ни влюбленного принца.

«Обвеянная очарованием печали, стоит она там,» – думала королева. – «В знойный полдень, когда все замирает под жгучими взорами небесного Змия, она одна стоит на высокой башни, и у безмолвного, ясного неба просит таинственных очарований. Поднимусь к ней, посмотрю, как она там колдует и ворожит, подслушаю чародейные слова, журчащим потоком текущие с её алых губ».

И стала королева Мариана медленно подниматься по лестнице, ведущей на высокую башню.

Долго шла вверх. Уставала, садилась отдыхать, и опять поднималась, преодолевая упрямство крутых ступеней. И уже была близка к вершине башни, когда увидела королевну Ариану сходящую вниз.

Увидела и удивилась.

Прекрасно и печально было лицо Арианы, как всегда, и кротко улыбались её милые губы, как всегда, но наряд её был необычен. Как простая девушка той страны в рабочий день, одета была Ариана. Белая грубая ткань облегла её стройный стань, оставляя открытыми загорелые на ветру и на солнце плечи и руки. Пестрая из грубой домашней материи юбка была коротка. На прекрасных ногах Арианы не было обуви. У её пояса висел мешок с деньгами, и в руках держала она тяжелую корзину с вещами, назначенными для раздачи бедным.

– Милая Ариана, – спросила королева, – зачем ты надела на себя эту некрасивую, грубую одежду? Если ты идешь раздавать милостыню бедным, следуя своему обычаю, – хотя это могли бы сделать твои служанки, – но пусть так, иди сама, – но ведь ты изранишь о песок и о камни свои нежные ноги.

Ариана ответила:

– Прости, милая мама. Я не могу не идти к ним, хотя и знаю, что не могу помочь им ничем. Что же эти деньги и эти вещи! Всего, что я могу дать, так мало для них! И все, что у меня есть, так для меня много! И тяжело мне стало идти к ним и дразнить их завистливые взоры моим пышным королевским убором. Как нищая, буду

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru приходит к ним, – да и разве я не нищая, если не могу дать так много, как хотела бы!

– Иди, – сказала Мариана, – куда хочешь, и как хочешь. Упрямая ты, и напрасно бы я тебе запрещала. Иди, красавица, но будь осторожна.

И, когда Ариана спускалась по лестнице, Мариана шептала:

– В лесу найдется ветка, достаточно сухая, чтобы выколоть тебе глаз. В деревни найдется собака, достаточно злая, чтобы укусить тебя за щеку, и изуродовать тебя. Где-нибудь на дороге найдется шаткая доска и камень, – о доску споткнешься и упадешь, о камень сломаешь себе переносицу.

Поднялась злая Мариана наверх башни, и смотрела вниз.

Когда Ариана вышла в сад, в то место, где против двери из башни была калитка в наружной стене замка, к ней подошел влюбленный принц Альберт.

– Милая Ариана, – сказал он, – позвольте мне идти за вами.

Она улыбнулась, и сказала ему:

– Милый Альберт, мой путь – не ваш путь. Ваш путь лежит к мужественным подвигам, к победам и славе, к торжеству и к радости. Мой путь – в печали и немощи, к деяниям, всегда недостаточным, всегда ничтожным.

– Милая Ариана, – отвечал Альберт, – я пойду не с вами, а только за вами, и не помешаю вам ни лишним словом, ни лишним взглядом.

– Как нищая, я иду к нищим, – сказала Ариана, – только для того, чтобы хоть один тоскующий почувствовал, что он не совсем одинок в этом жестоком мире. Зачем же вам, милый Альберт, идти за мною?

– Милая Ариана, – настаивал влюбленный принц, – позвольте мне идти за вами. Я буду охранять вас от дикого зверя и от злой встречи.

– Пречистая Богородица закроет меня своею ризой нетленной от всякого злого человека, – сказала Ариана. – Но, милый Альберт, если вы так непременно хотите, и если вы не стыдитесь идти за бедной девушкой, образ которой я приняла, то идите со мною.

– Как вы милостивы, Ариана! – воскликнул влюбленный принц, склоняя колени перед Арианой, – позвольте мне поцеловать ваши милые ноги.

Ариана, улыбаясь, подняла влюбленного принца, и сказала ему:

– Милый Альберт, поцелуйте меня лучше в губы, как вашу сестру.

И поцеловала его сама. Холоден и бесстрастен был её поцелуй, – но сладким восторгом наполнил он сердце влюбленного принца, и очарованием печали. Вместе вышли они из ограды замка, и спустились по крутой тропинке в долину, где много было рассеяно бедных деревень у подножия надменного чертога и богатого города.

Королева Мариана смотрела на них сверху, и злоба кипела в её злом сердце.

Когда Альберт и Ариана скрылись за калиткою сада, Мариана постояла еще немного, с недоумением всматриваясь во всё то, на что каждый день так долго смотрела Ариана. Скоро стало ей скучно. Кроме того неприятно было постоянное завывание и бешенство ветра, и томило солнце, грубый и злой змей, обжигающий кожу. Мариана сошла вниз, в привычную ей обстановку богато украшенных покоев.

Притворяться нежною матерью!

О, как завидовала Мариана простым людям, которые не приучены притворяться! Те мачехи, простые бабы, бьют своих падчериц смертным боем. И никто не заступается за бедных девочек.

Но что можно сделать с королевскою дочерью?

Мариана затворилась в своих покоях, и целый день томилась и плакала от досады и зависти. В зеркало смотреться принималась много раз, – и каждый раз зеркало показывало ей прекрасное лицо, но каждый раз завистливое сердце говорило Мариане, что Ариана еще прекраснее.

Когда уже стемнело, королева вышла из своих покоев, и как тень неприкаянная блуждала по залам и пустынным переходам дворца, хоронясь от людей, чтобы никто не смог по её мрачному лицу прочесть её черных дум.

И воскликнула вдруг королева, обращаясь к сгущавшемуся в углах пустынной залы сумраку:

– Тоскую и плачу, и никто мудрый и вещей не придет, и не спросить, отчего я тоскую.

Видно, сказаны были эти слова в такой миг, когда подстерегающая стояла близко, и слушала чутко. Известно ведь, – в какой час слово молвится!

Серая в серых сумерках, шелестя серыми одеждами и едва слышно шурша истоптанными, серыми от пыли башмаками, выдвинулась из угла старая, безобразная колдунья Хильда. Беззвучно смеясь и хрипло покашливая, подошла она к Мариане. А королева стояла неподвижно, испуганная внезапным появлением, но в глубине её злого сердца шевелилась надежда, что старуха-ведьма и поможет ей погубить падчерицыну красоту.

Молчала королева, и старая Хильда заговорила:

– Мудрый и вещей не спросит. Он и так знает. Знаю и я, чем опечалена ты, прекрасная королева. Воздух населен духами, которые подслушивают и тайные мысли.

Молчала Мариана. И говорила Хильда:

– Прекрасна королева Мариана, а королевна Ариана еще прекраснее. Но королева Мариана хочет быть прекраснее всех жен, живущих на свете.

Молчала Мариана. И говорила Хильда:

– На все есть средства: от полыни гибнут русалки, осина и мак страшны ведьмам и упырям. Есть заговоры и заклинания, – и чего ими не сделаешь! Очарованием печали красна красота Арканы. Из глубины болот восходит высокая красота. Чего ты хочешь, королева Мариана: перевести ли мне на тебя очарование печали с твоей падчерицы? или погубить её красоту?

– Зачем мне очарование печали! – воскликнула Мариана, – я не хочу печали, её и так у меня много. Я хочу радоваться и смеяться.

– Как хочешь, милостивая госпожа, – сказала ведьма Хильда, – тогда погубим её красоту тайными чарами. Но только дело это трудное и опасное, – высокие духи оберегают королевну Ариану, и как бы наши волхования не обратились тебе во зло, госпожа!

– Я ничего не боюсь, – угрюмо сказала прекрасная Мариана, – делай, что умеешь, – и если успеешь, я наделю тебя щедро многими дарами.

Начались в тайне королевина покоя многие волхования против королевны Арианы, и все безуспешные.

Каждый вечер приходила старая колдунья Хильда к королеве. Заговорила она вынутый ею на тропинке из замка в долину отпечаток обнаженной стопы Арианы, – и тогда жестокими болями всю ночь мучилась юная королевна, но, когда она встала утром, перенесенные ею страдания сделали еще сильнее разлитое в её лице очарование печали.

Другой раз заговорила ведьма прядь волос, отрезанных королевой у Арианы, и похудела Ариана, тонкою стала, как белая березка, – но стала еще краше.

– Духа печали испугай радостью и смехом, – сказала однажды Хильда, – и отлетит

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
очарование печали от прекрасного лица Арианы, когда простодушно-звонким зальется она смехом, искажающим черты лица и уродливо растягивающим рот, привыкший только к печальной улыбке.

Мариана пошла с поспешностью к королю, и сказала ему:

– Милая дочь наша Ариана грустит и печалится, хотя нет у неё никакой причины для скорби. Великою жалостью к Ариане болит мое сердце. Боюсь, что зачахнет от печали и умрет преждевременно Ариана. Надо развеселить ее, и приучить её к беззаботному смеху и веселью.

– Хорошо ты придумала, – сказал Теобальд, – девушка без смеха, что дерево без листьев. Я позабочусь об этом.

Со всей той страны собраны были самые искусные забавники и забавницы, шуты, скоморохи, сказочники, плясуны и плясуньи, фокусники, вожак дрессированных медведей и обезьян, изобретатели смешных механических игрушек, комедианты, клоуны, акробаты и акробатки. Каждый день подолгу давали они свои разнообразные представления, – то на дворе, где с высокого балкона смотрели на них король, королева и юная Ариана, а на галереях и внизу теснились нарядные толпы придворных, вельмож, рыцарей и знатных горожан, – то в одной из обширных зал дворца, где для тех же зрителей отведены были места по их достоинству и знатности. Громко хохотали все зрители, глядя на забавные проделки увеселителей, и только юная Ариана улыбалась печально и смеялась так тихо и грустно, что казалось, вот, вот она заплачет.

фокусник из далекой страны показал волшебство еще невиданное и неслыханное.

На одной из стен зрительного зала натянул он полотно. Потом велел занавесить окна и погасить все огни. Сам же забрался на галерею против натянутого полотна, установил там фонарь потайный в некоем темном ящике, и громко сказал собравшимся:

– Смотрите на полотно.

И начал деять чары, и на полотне открылись далекие страны, и, как живые, задвигались люди и животные, невиданные в королевстве Теобальда. Сначала ужас объел зрителей, особенно, когда кудесник показал им диковинные превращения. Но потом забавные сцены вызвали громкий смех зрителей. Только Ариана проливала тихие слезы.

Спросила ее королева Мариана:

– Милая дочь моя, отчего ты не смеешься, когда вокруг тебя такой громкий хохот, который и мертвеца заразил бы веселостью?

Ариана ответила мачехе:

– Как я могу смеяться над тем, чему смеются люди! Чему они смеются? Что их забавляет? Обманы, побои, воровство, погоня, злость. Тяжело и смотреть на их забавы. И вот я вижу, – смеются они, а почти у каждого в сердце есть горе или злоба.

Покраснела при этих словах Мариана.

Ариана же продолжала:

– И чародей, ожививший перед нами полотно, заставивший толпу плакать, ужасаться и смеяться, владеющий дивными тайнами познания, радостен ли он? Душа его омрачена многими печальями, и знаю, сожгут его за чародейство. И мудрейший из людей, поэт, слагающий песни о любви и о тайне, влачит на своих плечах тяжкий груз несчастливой жизни, и душа его мрачна, как подземная темница.

Молча оставила ее Мариана. А на утро чародея-кинематографщика сожгли.

Самое сильное волхование было, когда Хильда сделала из воска фигуру человека, и с обрядом, кощунственно повторявшим таинство крещения, нарекла ее Арианою.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
– Что сделаешь с этим человеком из воска, – сказала старая, – то и с Ариану случится.

Мариана вынула из своей косы золотую иглу и, повторяя за колдуньей слова заклинания:

– Как здесь Ариана восковая в моих руках красоту теряет, так бы и там Ариана живая красоту потеряла, – Провела острым концом иглы по восковой щеке, и намеревалась еще и еще много сделать знаков на воске, чтобы изуродовать лицо Арианы, как вдруг выронила из рук иглу, и вскрикнула от внезапной острой боли в лице. Капли крови упали на её руки, и в зеркало увидела ока рану на щеке своей. Смущенная ведьма бормотала:

– Ворожила на Ариану, случилось на Мариане. Оберегающий Ариану дух вложил, должно быть, в твои уста твое имя вместо имени Арианы. Ничего не сделать с нею чарами воска, – оставь эту восковую, чтобы тебе самой не было большего горя.

Чародейства, и заговоры, и нашептывания по ветру, и наговоры на воде, ничто не приводило к цели, и хотя много страдала Ариана от злых чар, но становилась все прекраснее.

И наконец сказала ведьма:

– Не сгубить нам красоты юной королевны. Заклятие печали, наложенное на нее, сильнее всех чар, какие есть на земле.

– Что же нам делать? – спросила королева Мариана.

– Одно осталось, последнее средство. – сказала Хильда, – перевести на тебя, королева, с Арианы очарование печали.

Крепко задумалась королева, и долго думала, и наконец сказала:

– Хорошо, пусть будет по твоему, старая ведьма. Пусть Ариана будет смеяться и веселиться, пусть я буду тосковать и печалиться, как она теперь, – только бы мне быть красивее Арианы.

Хильда хрипло засмеялась, показывая желтые, кривые зубы, и сказала:

– Она то уже не будет смеяться. Её очарование перевести на тебя можно только в час её скорой кончины.

– Да я не хочу её смерти, – притворно-испуганным голосом сказала Мариана.

Старая ведьма смеялась, и повторяла:

– Иначе нельзя. Да ты ничего не бойся. Я так сделаю, что никто не узнает.

И наконец. Мариана согласилась.

Тогда ведьма вытащила из-за пазухи белый платок, отдала его королеве, и сказала:

– В этом платке – большая сила. Только с ним надо обходиться осторожно. Когда королевна станет умирать, закрой её лицо этим платком, чтобы капли её пота в него впитались, и этим платком оботри свое лицо. И тогда обаяние, которым прекрасна была юная королевна, перейдет к тебе.

Ведьма рассказала королеве, когда и как она погубить Ариану, и ушла, богатые унося с собою опять дары.

На другой день, когда Ариана поднялась на башню, Мариана пришла и стала внизу башни, рядом с влюбленным принцем. Говорила с ним, и мешала ему смотреть на Ариану, и ждала.

В это время старая Хильда поднялась на башню. Встала на колени, чтобы не видел ее никто из-за высокого парапета, и смиренно поползла к Ариане, шепча слова благодарности.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
– Встань, старая, – сказала Ариана, – зачем ты ползаешь на коленях?

– Милая королевна, – говорила старая ведьма, – ты вымолила у короля помилование моему сыну, которого немилостивые судьи присудили повесить только за то, что злые разбойники напоили его вином и заманили в свою шайку. Дай мне поцеловать твои ноги, добрая, милостивая, прекрасная королевна.

Ариана за многих просила у короля, хотя и не всегда успешно; случалось ей, хоть и не часто, вымалывать помилование и присужденным к смертной казни. Припоминала, кто бы мог быть тот, за кого благодарит старуха, стояла спокойно, и хотя было противно, что старая ведьма целует её ноги, но не мешала; знала Ариана, что рабам приятно пресмыкаться и целовать ноги господ, и этим, в самом унижении, утверждать свою личность.

Старуха вдруг охватила колени Арианы, головою толкнула ее к парапету; быстро подняла её ноги, и опрокинула ее через парапет. Взвевали в воздухе легкие одежды, – и старая ведьма метнулась вниз, серым клубком скатилась по лестнице, и спряталась где-то, шепча заговоры.

Так быстро это случилось, что Ариана не успела приготовиться к защите, как уже почувствовала, что падает, вращаясь в воздухе.

«Я умираю», – коротко и ясно подумала она, и не было в ней ни удивления, ни испуга. Ударилась о выступ кровли спиной, и не почувствовала боли. Опять ударилась головою о выступ башни, и опять не почувствовала боли. Третий раз ударилась о витку старого дерева, – и считала ушибы, и не чувствовала боли. Время казалось ей нескончаемо длинным, так что вся жизнь припомнилась в эту короткую минуту.

Древний и мудрый дух, обитающий в старом дереве, простер навстречу падающей королевне свои руки, обратившиеся вдруг в ветви дерева. Бережно и нежно принимали ветви Ариану, стараясь не касаться её тела, а только придерживать за платье. Замедляя падение Арианы, каждая ветка осторожно качала ее, и передавала вниз, на следующую. И последняя ветвь медленно отпускала Ариану, пока её ноги не коснулись земли, – и потом выпрямилась, и бросила Ариану на руки подбежавших к этому месту Марианы и Альберта.

С воплями притворной горести опустила на землю Мариана неподвижное тело падчерицы, открыла её грудь, вынула из за своего низко-вырезанного корсажа флакон с мертвой водою, которую вчера дала ей Хильда, и этою водою облила грудь Арианы, повторяя:

– Милое дитя мое, открой свои ненаглядные глазки, понюхай этого спирта, который так хорошо помогал мне при обмороках.

Положила руку на грудь Арианы, – слабо билось и замирало сердце королевы. Тогда Мариана вынула из-за корсажа чародейный платок, раскрыла его широко, и вытерла им лицо Арианы.

И отшатнулась, и бросилась бежать, сжимая в руке чародейный платок и громкими воплями разнося повсюду смятение и страх.

Альберт склонился над Арианою, – и едва узнал её. Отлетело очарование печали, губы утратили кроткую улыбку, глаза были безвыразительно крепко сомкнуты, как у слепорожденной, и все лицо было равнодушною, мертвою, восковою личиною красоты.

К телу бездыханной Арианы сбежались все, кто был в замке. Слуги плакали над ласковой госпожой, лекари долго осматривали прекрасное тело, и решили, что Ариана умерла. Суровою скорбью омрачилось лицо короля Теобальда. Королева Мариана заперлась в своей спальне, и оттуда далеко были слышны её громкия рыдания.

Невидимый никем, кроме возлюбленного принца, подошел к Альберту дух старого дерева в образе маленького старика с веселыми глазами. Сказал:

– Не тоскуй, Альберт, Ариана не умерла. Она обрызгана мертвою водою, и сохранится целою и невредимою, пока не брызнуть на нее живую водою.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

– Где же эта живая вода? – с радостной надеждой спросил Альберт. – Я пойду за нею хоть на край света, и возьму её, хоть бы пришлось за нее биться со всеми чудовищами и великанами.

– Я дам тебе живую воду, Альберт, – сказал старик, – но поклянись мне, что ты не воспользуешься ею, пока не придёт время.

Альберт поклялся, и старик передал ему флакон с красной жидкостью.

– Когда же настанет время? – спросил Альберт.

– Об этом скажет тебе Мариана, – промолвил старик, и исчез.

Положили Ариану в хрустальный гроб, отнесли ее в королевский склеп, повесили там гроб на золотых цепях. Как живая, лежала в гробу Ариана.

Как только Мариана пришла к себе с платком, которым вытерла лицо умирающей падчерицы, она замкнула двери, и набросила на свое лицо чародейный платок.

Острые мечи печали пронзили её сердце, и она упала на пол, и завопила от нестерпимой тоски. Долго рыдала, и колотилась головою о пол, и не могла утешиться. Всё, что она ни вспоминала, окрашивалось перед нею в цвета печали, в цвета Арианы – черный и алый.

Встала наконец, взглянула в зеркало, и отшатнулась в страхе. Ужасное, хотя и прекрасное лицо глянуло на нее. Оно было бледно, и кровавою на нем раною казалась яркая красная черта губ.

– Ты прекраснее Арианы, – сказало ей зеркало, – но красота твоя страшна, – в ней очарование печали, и невинной крови, и смертного ужаса. В ней очарование порока, – мудрейшее и злейшее из очарований.

Когда похоронили Ариану, полюбила королева подниматься на высокую башню, и слушать голоса просторов и бури, и смотреть на то, что видели Арианыны очи.

Дивились люди дикой и страшной красоте Марианы, и тому, как изменился её нрав.

– Мачеха, а как тоскует по Ариане!

Однажды вечером пришла Мариана к Альберту, и сказала:

– Если бы я могла отдать Ариане мою душу вместе с очарованием печали! Легче ей в гробу, чем мне на свете.

Понял Альберт, что пора. Спустился в склеп, разбил гроб, – обрызгал Ариану живую водою, и вывел её к живым.

– Ариана жива!

Радостная разнеслась весть, и все спешили к королевскому замку. Среди общего ликования только одна Ариана была холодна и равнодушна. Спокойным да отвечала она каждому явлению жизни, и смотрела на отчетливо предстающие перед нею предметы, не узнавая за ними ничего.

Королева же Мариана решила умереть и возвратить Ариане очарование печали.

Сказал Ариане Альберт:

– Милая Ариана, хочешь ли быть моею женою?

Нерадующим голосом ответила:

– Да.

Когда вернулись молодые из-под вйнца, Мариана тайно всыпала в свой кубок отраву, и выпила отравленное вино. Вынула чародейный платок, и сказала Ариане очень тихо:

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
– От счастья и от печали умираю. Милая дочь, этим платком вытри мое лицо, орошенное смертным потом.

Послушно исполнила это Ариана.

– И этим платком вытри свое лицо, – сказала Мариана.

И когда платок коснулся Арианина лица, умерла Мариана. И в тот же миг мечи печали пронзили сердце юной Арианы, и с громким воплем открыла она лицо, – прекрасный лик, обвеянный очарованием печали.

С громким воплем бросилась она на холодеющую грудь злой мачехи.

– С тобою, с тобою, – вопила она.

Подстерегающая желания стояла близко. Взяла она тёмную душу Марианы, и соединила ее с изнемогающей от печали душой Арианы.

Чувствуя в своей груди двойную отныне душу, и преобразование зла силою печали, встала Ариана от трупа, в котором уже не было души. И была она еще прекраснее, чем прежде, новою преобразенною красотой. По воле создающего и разрушающего души вернулась она в мир, – нести ему очарование печали.

Алчущий и жаждущий

«Иные верили и спаслись, иные не верили и погибли, – раньше же всех погиб сам очарователь».

Ночной гость, роман леди Эвелины Варвик.

За несколько переходов от города Дамаска крестоносцы разделились на несколько отрядов. Они хотели достигнуть Дамаска с разных сторон, чтобы таким образом легче и безопаснее овладеть этим богатым, крепким городом. Кроме того, разделиться на отряды, идущие отдельно, побуждало их и то обстоятельство, что громадное полчище их на одном пути терпело недостаток в съестных припасах. Было также признано необходимым исследовать во всех направлениях местность, по которой, внезапно проявляясь и также внезапно исчезая, рыскали отважные и коварные сарацины.

Благочестивый Ромуальд из Турени и с ним шесть тысяч шестьсот рыцарей, монахов и смелых горожан из той же области и из других, близких к ней, отошли далее всех других на восток. Шли долго, – дольше, чем рассчитывали, – и все еще не видели конца своего пути.

Далеко вокруг простерлась бесплодная, безводная пустыня. Под ногами крестоносцев хрустел мелкий, плотный песок, тонким серым слоем покрывающий твердую, смешанную с известью, глину. Известковые и меловые скалы кое-где выставляли из-под песчаного слоя свои острые ребра. Ни травки вокруг. Безоблачное небо, яркое солнце.

Были съедены все взятые с собою запасы, была выпита вся вода, – и стали томиться люди голодом и жаждою.

– Хоть бы орла в небе подстрелить! – сказал рыцарь Гвидо, всматриваясь в пустынную синеву небес.

– Да нет в небе орлов, – сказал зоркий юноша Теобальд, – уже давно не видел я ни в небе, ни на земли окрест ничего живого.

И вдруг вскрикнул юный Теобальд:

– Смотрите, сарацин!

Далеко, еле видный среди серой пустыни, маячил на светлом коне сарацин в сером плаще. И вдруг опять вскрикнул юный Теобальд от внезапной боли: стрела пробила его горло – Теобальд упал, корчась в предсмертных судорогах.

Сарацин исчез, скрытый грядою далеких скал.

Юный Теобальд хрипел, умирая, – и лицо его, за немногие минуты перед тем

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
прекрасное и веселое, стало серым, как безжизненные пески окрестной мертвой пустыни.

Крестоносцы оплакивали недолго смерть юного Теобальда, – нельзя было медлить в этой скудной, зловещей пустыне, надо было искать верного пути к вожделенному Дамаску, или хотя таких мест, где есть вода и пища, хотя бы и ржавая вода болот, хотя бы и скудная пища из мяса зверей и птиц, подстреленных на бегу и на лету, или из небольшой на каждого горсти риса или пшена.

Юного Теобальда зарыли в неприветливой почве чахлой пустыни, монахи торопливо отпели над ним погребальные песни, – и дальше наугад пошли благочестивый Ромуальд из Турени и бывшие с ним.

Дальше, от могилы юного Теобальда. Но куда идти? Бесследная лежала окрест пустыня, легкою покрытая по краям мглюю, вся безжизненная и серая, – и ничто не возникало в её немом просторе: ни движение, ни звук. Только порою, вдруг являясь из-за серой скалы, маячил далеко быстрый на легком кони сарацин, выпускал стрелу, и скрывался так же быстро, недостижимый для рыцарских стрел, зыбкий, лукавый, как бы порожденный одним из тех злобных демонов, которые всегда обитают в пустынных местах, подстерегая неосторожных или слишком отважных путников. И каждый раз стрела сарацина, пущенная с дьявольскою меткостью, поражала насмерть кого-нибудь из бывших с благочестивым Ромуальдом из Турени.

Шли долго, изнемогая от усталости, голода и жажды. Когда останавливались где-нибудь у гряды неприветливых скал, нерадостен был отдых, и не восстанавлил утомленных сил.

Стали путники роптать на благочестивого Ромуальда. Говорили ему с горькою укориною:

– Что же твое благочестие и твои воинские знания? Сутану ты носишь, и доспехи воина одновременно, рыцарь и монах, книгам и ратному делу обучавшийся много, – что же все это, если завел ты нас в безводную пустыню, где скоро уже дьяволы порадутся гибели многих, подъявших подвиг освобождения великой святыни!

Уговаривал и утешал их Ромуальд, как мог, но ропот возрастал.

Когда уже совсем истомлены были голодом и жаждою, злой демон той пустыни стал мучить и дразнить их лживыми видениями. Вдруг возникали перед путниками невдалеке пальмовые рощи, и зеленая, сочная виднелась трава, и разливалась весело зыбкою, серебрящаяся на солнце полоскою радостная вода, и даже казалось путникам, что слышно щебетанье птиц, снующих между зелеными пальмами. С воплями восторга, с молитвенными славословиями бежали путники к зеленоющей роще, – и вдруг исчезло очаровавшее их видение. Там, где только что радовались их очи блеску солнца в воде, и радовались ряби прохладных её струй по ветру, опять только сухой, мелкий песок рассыпался под их ногами, взвевный в воздух тяжестью их бега, – и легкая песочная пыль, пахнувшая горько и сухо, делала трудным их горячее дыхание, и траурною пеленою печали заволакивала все окрест.

Другой раз путники увидели город. За серою мглюю блестела белизна стен и позолота на возвышенных кровлях и на узких башнях, тусклою свинцового синевою мерцала ширь полноводной реки, и медленно скользили по ней тяжелые барки и многовесельные, узкие, длинные галеры. Перед крепкими городскими стенами пестротою ярких красок переливалось суетливое торжище базара. Казалось путникам, что слышат они смутный многоголосый гул гортанного, трескучего говора сарацин, сирийцев и евреев.

– Дамаск, Дамаск! – радостно восклицали путники.

И бросались они вперед, забывая усталость, голод и жажду. А иные при этом в изнеможении падали побледневшим лицом в сухой, хрупкий песок, и умирали, полные восторга, как бы уже достигнувшие вожделенного города, и насладившиеся всеми его обильными утехами и радостями.

Но опять исчезало в пыльной мгле очаровавшее измученных путников явление, – и снова мрачное уныние овладевало их сердцами.

И уже изнемогали слабые, и многие отставали в пути, и были многие убиты, как из

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
числа отстававших, так и из числа тех, которые еще шли за Ромуальдом из Турени. И умирали многие от усталости, голода и жажды. Утром, когда багровым дымом из-за мглистых скал медленно подымалось солнце, и когда еще гора небес была тускло-голубою, собрались около благочестивого Ромуальда спутники его, и было их шесть тысяч триста. Роптали, и говорили ему:

– Завел нас в пустыню, где мы умираем.

– Мы голодны.

– Мы жаждем.

И говорили ему монахи:

– Все считают тебя благочестивым, но за чей же грех карает нас Господь? Вот, молились бы мы, но ослабели руки наши, и не поднимаются к небу, а память наша помутилась, разроняла по пустынным пескам слова святых молитв. В пустыню, где господствуют демоны, завел ты нас, отважный Ромуальд.

И рыцари говорили ему:

– Победитель на многих турнирах, вождь искусный, ты вел нас, куда хотел, и мы шли за тобою, и верили в тебя. Но вот в пустыню завел ты нас, где господствуют демоны и сарацины. Таится враждебная сила, не смеет вступить с нами в открытый бой, – бесславно погубят нас коварные враги наши, демоны и сарацины. Что же твое искусство и твоя доблесть, благочестивый Ромуальд?

И возопило к нему все множество собравшихся:

– Накорми нас!

– Напои нас!

– Покажи нам дорогу!

Хриплы были голоса вопиющих, и бессильная была в них угроза, и жалкая, изнемогающая мольба.

Поник головою благочестивый Ромуальд из Турени, и думал долго. Затихли голоса его спутников, и трепетно ждало все множество их, что скажет им вождь.

И сказал Ромуальд:

– Что же вы от меня хотите? Что же я могу? Не из этого ли песка, попираемого ногами вашими, сотворю я вам пшено?

Концом своего посоха он быстро провел по песку, и серовато-белая поднялась пыль, и покатались, шелестя сухо, легкие песчинки.

В толпе тогда раздались радостные восклицания:

– Из песку сотворил Ромуальд нам пшено!

– Посрамлены Ромуальдом демоны пустыни!

Бросились люди на пересыпающиеся под их ногами песчинки, и проглатывали их, как пшено. Так обмануло их нестерпимое томление голода, и казалось им, что они насыщаются.

Другие же видели в пустыне только песок и камни, и угрюмо молчали, но не унимали тех, кто принимал песок за пшено, и не спорили с ними. И опять приступили к Ромуальду, и говорили ему:

– Нас томит жажда, – как дикий коршун, раздирает она внутренности наши. Скорей дай нам воды, или погибнем мы все до одного.

И сказал Ромуальд:

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

– Где же я найду для вас воды? Окружают нас только голые скалы. Не ударом ли посоха по камню изведу я для вас источник воды? Но вот, видите, скала не источает воды.

И ударил по скале концом своего посоха. Тогда люди, обманувшие свой голод небывалым пшеном, закричали громко:

- Из камня извел Ромуальд ударом своего посоха источник холодной воды!
- Снова посрамлены Ромуальдом коварные джины пустыни!

Толпясь и толкаясь, приникли к скале, сухой и серой, – и опять обманули их томления жажды, и казалось им, что они пьют воду. А другие стояли поодаль, и знали, что нет воды, но не спорили с теми, кто небывалою освежал запекшиеся уста водою.

И потом обманувшие свой голод и свою жажду приступили снова к Ромуальду, и говорили ему:

- Теперь мы готовы идти к Дамаску, – веди нас, указывай нам дорогу.

Опечаленный сказал им Ромуальд:

- Я не знаю дороги. Или вы хотите, чтобы посох мой сам показывал вам путь, которого я не знаю?

Дрожащею от слабости рукою бросил он прочь от себя свой посох, а сам сел под скалою, усталые закрыв глаза.

И спутники его радостно говорили между собою:

- Посох благочестивого Ромуальда из Турени укажет нам дорогу.
- Снова посрамлены будут Ромуальдом злые демоны пустыни.

Юный рыцарь Бертран, искусный в разведывании дорог, чуткий к далеким звукам, взял Ромуальдов посох, и пошел впереди путников, – тех, которые желанием чуда обманули свой голод и свою жажду. Скоро из мгlistой дали сверкнули им в глаза золоченые иглы дамасских минаретов, – и под стенами этого славного города соединились они с другими отрядами крестоносцев.

А благочестивый Ромуальд из Турени и с ним три тысячи триста остались в пустыне, где господствуют демоны и сарацины. И умерли Ромуальд и с ним три тысячи триста от голода и жажды. Ночью на их трупы пришли шакалы, привлеченные запахом мертвых тел. Яркое солнце пустыни потом выбелило кости погибших. Потом демоны пустыни, вея сухими ветрами, долго играли грудюю костей, – и стучала кость о кость, и песок пересыпался вокруг них и над ними.

Собака

Так все опостыло в этой мастерской – эти выкройки, и стук машинок, и капризы заказчиц, – в этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицею. Все раздражало Александру Ивановну, ко всем она придиралась, бранила безответных учениц, напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, потом вежливым голоском и так спокойно, что все, кроме Александры Ивановны, засмеялись, сказала:

- Вы, Александра Ивановна, суцая собака.

Александра Ивановна обиделась.

- Сама ты собака! – крикнула она Танечке.

Танечка сидела и шила. Отрывалась время от времени от работы и говорила спокойно и неторопливо:

- Завсегда лааетесь... Собака вы и есть... У вас и морда собачья... И уши собачьи... И хвост трепаный... Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы есть самая злющая собака,

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
пес барбос.

Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою, и глазки были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими дужками на ровно-изогнутом беленьком лбу под гладко причесанными, темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, вкрадчивый, – и если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне.

Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, прикрываясь черными передниками, и опасливо посматривали на Александру Ивановну, – а Александра Ивановна сидела багровая от ярости.

– Дрянь, – вскрикивала она, – я тебя за уши выдеру! Я тебе все волосы повытаскаю!

Танечка отвечала нежным голосом:

– Лапки коротенькие... Барбос лаетя и кусаетя... Намордничек надо купить.

Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка. Строго сказала:

– Александра Ивановна, опять вы скандалите!

Александра Ивановна взволнованным голосом заговорила:

– Ирина Петровна, что же это такое! Запретите ей меня собакою называть!

Танечка жаловалась:

– Излаяла ни за что ни про что. Всегда по пустякам ко мне придерется и лаетя.

Но хозяйка посмотрела строго и на нее и сказала:

– Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли и начинаешь? Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти.

Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид. Смирно сказала хозяйке:

– Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие, слова им не скажи, сейчас, – «я тебя за уши». Такая же мастерица, ни как и я, а уж я им из девчонок вышла.

– Давно ли, Танечка? – спросила хозяйка внушительно и отошла.

Почти больная от злости вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.

«Ну, собака, и пусть собака, – думала Александра Ивановна, – а ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она, змея или там лисица, что ли, – и не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Татьяна, и дело с концом. Обо всех можно узнать, а только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?»

Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкою, пустынною степью, родиною диких, рыскающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там.

И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло.

Александра Ивановна принялась было раздеваться, да что! все равно не уснуть.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Пошла из дверей. В сенях, теплые под ногами, шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног.

Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела, черная в черном платке, сухая и сморщенная. Согнулась, старая, и казалось, что греется в лунных холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с нею, на ступеньки крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой, загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.

«Ворона», – подумала Александра Ивановна. Улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядающего лица стали вдруг невидны, и она опять сделалась молодой, веселой и легкой, как десять лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани.

Она подвинулась поближе к старухе и ласково сказала:

– Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?

Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами и резким старческим голосом спросила, точно каркнула:

– Ну, что, красавица? Спрашивай.

Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка и говорила очень тихо:

– Бабушка Степанида, сдается мне, – правда ли это, нет ли? – уж не знаю, как и сказать, – да вы, бабушка, не обидьтесь, – я ведь не со зла...

– Ну, ну, говори, не бойся, милая, – сказала старуха.

Глядела на Александру Ивановну яркими, зоркими глазами. Ждала. И опять заговорила Александра Ивановна:

– Сдается мне, бабушка, – уж вы, право, не обидьтесь, – что будто бы вы, бабушка, ворона.

Старуха отвернулась и молчала, качая головой. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась, и казалось порою Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головой и шепчет древние, ветхие слова. Чародейные слова...

Было тихо на дворе, ни светло, ни темно, и все вокруг казалось замороженным беззвучным шептанием древних, вещих снов. Все томилось и млело, и луна сияла, и тоска опять сжимала сердце, и было все ни сон, ни явь. Тысячи запахов, незаметных днем, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках.

Еле слышно бормотала старая:

– Ворона и есть. Только крыльев у меня нету. И я каркаю, и я каркаю, а им и горя мало. А мне дадено предвиденье, и не могу я, красавица, не каркать, да людишки-то и слушать меня не хотят. А я как увижу обреченного, так и хочется мне каркать, и хочется.

Старуха вдруг широко взмахнула руками и резким голосом крикнула дважды:

– Кар, кар!

Александра Ивановна дрогнула. Спросила:

– Бабушка, кому каркаешь?

Ответила старая:

– Тебе, красавица, тебе.

Жутко стало сидеть со старухой. Александра Ивановна ушла к себе. Села под

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
открытым окном. Слушала, – за воротами сидели двое и говорили.

– Воет и воет, – слышался низкий и злой голос.

– А ты, дядя, видел? – спросил сладенький тенорок.

Александра Ивановна сразу по этому тенорку представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, – здешний, с этого же двора.

Прошла минута тусклого молчания. И вдруг послышался сиплый и злой голос:

– Видел. Большая. Белая. У бани лежит, на луну воет.

Опять представила по голосу черную бороду лопатю, низкий плоеный лоб, свиные глазки, расставленные толстые ноги.

– Чего же она воет, дядя? – спросил сладкий.

И опять не сразу ответил сиплый:

– Не к добру. И откуда взялась, не знаю.

– А ежели, дядя, она – оборотень? – спрашивал сладкий.

– А не оборачивайся, – ответил сиплый.

Непонятно было, что значили эти слова, – но не хотелось думать о них. И уже не хотелось прислушиваться к ним. И что же ей звук и смысл людских слов!

Луна смотрела прямо в лицо, и настойчиво звала, и томила. И тусклою сжималось сердце тоскою, – и не усидеть было на месте.

Александра Ивановна поспешно разделась. Нагая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь, – на крыльце и на дворе никого не было, – пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило. Но скоро тело угрелось.

Легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях, подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне и протяжно завывала.

– Слышь, дядя, завывала, – сказал у ворот кудреватый.

Сладенький тенорок трусливо дрожал.

– Завывала, проклятая, – неторопливо отозвался сиплый и злой.

Встали со скамьи. Щелкнула щеколда у калитки.

Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади. Выглядывал из-за плеча.

За банею лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к ворожащей в холодном небе луне, задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом, неверном озарении луны она казалась огромною, – такую огромною, каких и не бывает на свете собак, – толстою, жирною. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскою распушенной косою. Хвоста не было видно, – должно быть, подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по-собачьи голая женщина.

Чернобородый прицелился. Кудреватый закрестился и забормотал что-то.

Гулко прокатился удар выстрела. Собака завизжала, вскочила на задние ноги, прикинулась голою женщиною и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Чернобородый и кудреватый повалились на траву и в диком ужасе завыли.

Отравленный сад
Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила.

А. Пушкин

– Прекрасный Юноша, о чем ты задумался так глубоко? – спросила Старуха, у которой Юноша снимал комнату.

Она тихо вошла вечером в его полутемную комнату и, еле слышно шелестя по крашеному буро-красною краскою неровному полу мягкими туфлями, приблизилась к Юноше и стала у его плеча. Он вздрогнул от неожиданности, – уже с полчаса стоял он у единственного окна своего тесного покойчика в верхнем жилье старого дома и, не отрываясь, смотрел на лежащий перед ним прекрасный Сад, где цвело множество растений, благоухающих нежно, сладко и странно.

Отвечая Старухе, Юноша сказал:

– Нет, Старая, я ни о чем не думаю. Я стою, смотрю и жду.

Старуха укоризненно покачала седою головою, и узлы ее темного платка закачались, как два остро-поднятые кверху, настороженные уха. Ее морщинистое лицо, более желтое и сухое, чем у других старых женщин, живших на той же улице, на окраине громадного Старого Города, выражало теперь озабоченность и тревогу. Старуха молвила тихо и печально:

– Жаль мне тебя, милый Юноша.

Голос ее, хотя уже и старчески хриплый, звучал такую печалью, таким искренним состраданием, и ее уже бесцветные от старости глаза глядели так скорбно, что Юноше, в полумраке его покоя вдруг, на одно короткое мгновение, показалось, что эти внешние признаки старости – только удачно надетая личина, и за нею скрывается молодая и прекрасная жена, еще недавно только испытывавшая пронзающую сердце скорбь Матери, оплакавшей погибшего Сына. Но прошло это странное мгновение, и Юноша улыбнулся своей чудной мечте. Он спросил:

– Почему тебе жаль меня, Старая?

Старуха стала рядом с ним, посмотрела в окно на Сад, прекрасный и цветущий, и весь осиянный лучами заходящего солнца, и сказала:

– Мне жаль тебя, милый Юноша, потому что я знаю, куда ты смотришь и чего ты ждешь. Мне жаль тебя и твоей матери.

Может быть, от этих слов, а может быть, от чего-нибудь иного, что-то изменилось в настроении Юноши. Сад, цветущий и благоухающий за высоким забором под его окном, вдруг показался ему почему-то странным, и темное чувство, похожее на внезапный страх, жутким замиранием остановилось у его сердца, точно рожденное пряными и томными ароматами, исходящими от ярких внизу цветов.

«Что же это?» – подумал он в недоумении. Он не хотел поддаваться темному очарованию вечерней тоски, – сделал над собою усилие, улыбнулся весело, быстрым движением сильной руки откинул с высокого лба прядь черных волос и спросил:

– Что же, Старая, страшного и нехорошего в том, на что я смотрю и чего я жду? И почему ты знаешь, чего я жду?

И в эту минуту он был веселый, смелый, прекрасный, и черные глаза его пылали, и румяные щеки его рдели, и алые, яркие губы его казались сейчас только поцелованными, и из-за них сверкали крепкие, белые зубы, веселые, злые.

Старуха говорила:

– Вот, милый Юноша, ты смотришь на Сад и не знаешь, что это – злой Сад. Вот ты ожидаешь Красавицу и не знаешь, что красота ее пагубна. Два года прожил ты в

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
моей комнате и ни разу не засматривался так, как сегодня. Видно, и твой черед настал. Пока еще не поздно, отойди от окна, не дыши злым дыханием этих коварных цветов и не жди, чтобы под окно твое пришла чаровать Красавица. Она придет, она зачарует, и ты пойдешь за нею, куда не хочешь.

Говоря так, Старуха зажгла две свечи на столе, где лежали книги, захлопнула окно и задернула у окна занавеску. С легким скрежетом провлеклись по медному пруту кольца, заколыхалось и легло опять спокойно желтое полотно занавески, – и в комнате стало весело, уютно и спокойно. И казалось, что нет за окном Сада, и нет в мире очарований, и все просто, обычно, установлено раз навсегда.

– А и правда, – сказал Юноша, – я никогда не обращал внимания на этот Сад и сегодня только в первый раз увидел Красавицу.

– Уже увидел, – печально сказала Старуха. – Уже упало в твою душу злое семя очарования.

А Юноша говорил не то Старухе, не то рассуждая сам с собою:

– Да раньше и некогда было. Днем – на лекциях в университете, вечером – за книгами или с веселыми товарищами и милыми девушками на вечеринке или в театре, где-нибудь на галерке, а то так и в партере по студенческой контрамарке, когда платной публики мало: антрепренеры нас любят, мы хлопаем усердно и кричим, вызывая актрис, пока не погасят всех огней. Летом уедешь к родителям. Так, только слышал, что рядом великолепный Сад нашего профессора, знаменитого Ботаника.

– Потому и знаменитый, что черту душу продал, – сердито сказала Старуха.

Студент рассмеялся весело.

– А все-таки, – сказал он, – мне странно, что я никогда до сегодняшнего вечера не видел его дочери, хотя и слышал много об ее дивной красоте и о том, что многие знатные юноши Старого Города и из других мест, близких и дальних, добивались ее любви, и надеялись, и обманывались, а иные и умирали, не стерпев ее холодности.

– Она – коварная, – сказала Старуха. – Она знает цену своим чарам и показывается не всем. Нищему студенту трудно свести с нею знакомство. Отец обучил ее многому, чего и ученые не знают, но на ваши сходки она не ходит. Она больше с богатыми, от которых можно ждать многих подарков.

– Старая, сегодня я хорошо видел ее, и мне кажется, – возражал Юноша, – что девица с таким прекрасным лицом, с такими непорочно-ясными глазами, с такими изысканно-грациозными манерами и одетая так красиво не может быть коварною и корыстною и гнаться за подарками. Я твердо решил, что познакомлюсь с нею. Сегодня же пойду к Ботанику.

– Ботаник тебя и на порог не пустит. Его слуга о тебе и докладывать не пойдет, как увидит твою поношенную одежку.

– Что ему за дело до моей одежды! – с досадою сказал Юноша.

– Да вот, разве если бы ты на крылатом змее приехал, так, пожалуй, пустили бы, и на твои заплаты не поглядели бы.

Юноша засмеялся и воскликнул весело:

– Что ж, Старая, и крылатого змея оседлаю, коли иначе туда не попасть будет!

Старуха ворчала:

– Да уж от ваших забастовок добра не ждать. Учились бы смиренно, и все было бы хорошо. И тебе бы не было никакой печали до этой хитрой Красавицы и до ее страшного Сада.

– Что страшного в ее Саду? – спросил Юноша. – А не бастовать нам никак нельзя было: наши права и права университета нарушены, – неужели же мы смиренно

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
подчинимся?

– Юноши должны учиться, – ворчала Старуха, – а не права разбирать. А ты, милый Юноша, прежде чем с Красавицей знакомиться, в ее Сад взглядишь хорошенько из окошка, завтра утром, при свете солнца, когда все видно ясно и верно. Ты увидишь, что в этом саду нет цветов, которые здесь всем знакомы, а цветов, какие там есть, никто у нас в Городе не знает. Подумай-ка об этом хорошенько, ведь это неспроста. Бес коварен, не его ли это создания на пагубу людям?

– Это – растения чужестранные, – сказал Юноша, – они привезены из жарких стран, где все иначе.

Но уже Старуха не хотела больше разговаривать. Она досадливо махнула рукою и, шагая туфлями, сердито и неразборчиво бормоча неласковые слова, вышла из комнаты.

Первым побуждением Юноши было подойти к окну, отдернуть желтое полотно занавески и опять смотреть в очаровательный сад и ждать. Но помешали: пришел Товарищ, шумный, нескладный молодой человек, и позвал Юношу идти в место, где они часто собирались, чтобы говорить много, спорить, и шуметь, и смеяться. По дороге Товарищ, смеясь, негодуя, размахивая руками больше, чем бы следовало, рассказывал Юноше о том, что происходило сегодня утром в аудиториях и в университетских коридорах, как были сорваны все лекции, как были посрамлены противники забастовки, какие прекрасные слова говорили любимые хорошие профессора, и как смешно вели себя профессора нелюбимые, и значит, нехорошие.

Юноша провел интересный вечер. Говорил, волнуясь, как все. Слушал искренние и горячие речи. Смотрел на товарищей, лица которых выражали и беззаботную смелость молодости, и ее пламенное негодование. Видел девушек, милых, умных, скромных, и мечтал о том, что из их веселого круга изберет себе подругу. И почти забыл о Красавице в очаровательном Саду.

Вернулся домой поздно и заснул крепко.

Утром, когда он открыл глаза и когда взор его упал на желтое полотно занавески у окна, показалось ему, что ее желтизна окрашена багрянцем темного желания и что в ней есть какая-то странная и жуткая напряженность. Казалось, что солнце настойчиво и страстно упирает свои жгучие и горькие лучи в это пронизанное золотым светом полотно, и зовет, и требует, и волнует. И в ответ этой удивительной внешней напряженности золота и багрянца огненной живостью наполнились жилы Юноши, упругою силою налились его мускулы, и сердце его стало, как родник ярких пожаров. Пронизанный сладко миллионами живящих, и горящих, и возбуждающих игол, вскочил он с постели и с ребяческим веселым хохотом, не одеваясь, принялся прыгать и плясать по комнате.

Привлеченная необычным шумом, заглянула в дверь Старая хозяйка. Покачала укоризненно головою и ворчливо сказала:

– Милый Юноша, пляшешь и радуешься, и всех беспокоишь, а чему рад, и сам не знаешь, и не ведаешь, кто стоит под твоим окошком и что она тебе готовит.

Юноша смутился и стал тих и скромен, как раньше, что и согласно было с его характером, и соответствовало прекрасному воспитанию, полученному им дома. Он умылся старательнее обычного, оттого, может быть, что не надо было сегодня спешить на лекции, а может быть, и по иной причине, и с таким же тщанием оделся, причем долго чистил свою изрядно уже поношенную одежду: новой у него не было, так как родители его были небогаты и не могли присылать ему много денег.

Потом подошел он к окну. Сердце его забилося тревожно, когда он отдернул желтое полотно занавески.

Очаровательно-прекрасное зрелище открылось перед ним, – хотя сегодня он сразу заметил, что есть что-то странное во всем виде этого обширного, превосходно расположенного Сада. Что именно его удивляло, еще он сразу не понял и внимательно стал рассматривать Сад.

Что же было неприятного в его красоте? Отчего так больно замирало сердце Юноши?

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
То ли, что все в очаровательном Саду было слишком правильно? Дорожки разбиты прямо, все одинаковой ширины и однообразно усыпаны ровным слоем желтого песка; растения рассажены с тщательной порядливостью; деревья подрезаны в виде шаров, конусов и цилиндров; цветы подобраны по тону, так что сочетание их ласкало глаз, но почему-то ранило душу.

Но, рассуждая здраво, что же неприятного в том порядке, который свидетельствует, что кто-то неусыпно заботится о Саде?

Нет, не в этом, конечно, была причина странного беспокойства, томившего Юношу. В чем-то другом, еще непонятном Юноше.

Одно было несомненно, что этот Сад не был похож ни на один из тех садов, которые довелось на своем веку повидать Юноше. Он видел здесь цветы громадные и слишком яркой окраски, – порою казалось, что разноцветные огни пылали среди буйной зелени, – бурые и черные стебли ползучих растений, толстые, как тропические змеи, – листья странной формы и непомерной величины, зелень которых казалась неестественно яркою. Пряные и томные ароматы легкими волнами вливались в открытое окно, вздохи ванили, и ладана, и горького миндаля, сладкие и горькие, торжественные и печальные, как ликующая погребальная мистерия.

Юноша чувствовал на своем лице нежные, но бодрящие прикосновения легкого ветра. В саду же, казалось, ветер не имел силы и в изнеможении улегся на спокойно зеленой траве и в тени под кустами странных насаждений. И оттого, что деревья и травы странного Сада были бездыханно тихи, и не слышали тихо веющего над ними ветра, и ничем не отвечали ему, они казались неживыми. А потому лживыми, злыми, враждебными человеку.

Впрочем, одно из растений шевелилось. Но, взглядевшись, Юноша засмеялся. То, что он принял за безлиственный ствол странного растения, был человек небольшого роста, тощий, одетый весь в черном. Он стоял перед кустом с ярко-пурпурными цветами, потом медленно пошел по дорожке, опираясь на толстую палку и приближаясь к тому окну, из которого глядел Юноша.

Не столько по лицу, которое, будучи прикрыто широкими полями черной шляпы, только отчасти было видно сверху, сколько по манерам и походке Юноша узнал Ботаника. Не желая показаться нескромным, Юноша немного отодвинулся от окна в глубину комнаты. Но вдруг увидел он, что навстречу Ботанику шла Красавица, его юная дочь.

Ее нагие руки были подняты к сложенным на голове черным косам, потому что в это время она вкалывала в волосы ярко-пунцовый цветок. Ее легкое, короткое, открытое платье было застегнуто на одном плече золотою пряжкой. Стройные, белые ноги были обуты в золоченые сандалии и обвиты широкими розовыми лентами.

Сердце Юноши забилося, он забыл всякую осторожность и скромность, опять бросился к окну и жадно глядел на милое видение. Красавица кинула в его сторону быстрый, пламенный взгляд, – синие из-под черных ровных бровей сверкнули очи, – и улыбнулась нежно и лукаво.

Если бывают люди счастливы, если светит им порою безумное солнце радости, сладким кружением восторга унося в запредельные страны, – то где слова, чтобы сказать об этом? И если есть на свете красота для очарований, то как описать ее?

Но вот остановилась Красавица, пристально посмотрела на Юношу и засмеялась радостно и весело, – и в несказанном кружении восторга забыл Юноша о всем, что есть на свете, стремительно наклонился из окна и закричал голосом, звонким от волнения:

– Милая! Прекрасная! Божественная! Приди ко мне! Люби меня!

Красавица подошла близко, и Юноша услышал тихо-звонящий, ясный голос, каждый звук которого сладкою мукою ранил его сердце:

– Милый Юноша, знаешь ли ты цену моей любви?

– Хотя бы ценою жизни! – восклицал Юноша. – Хотя бы у темных ворот Смерти!

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Ее лицо было бело, ее щеки были румяны, ее глаза были сини, ее уста были алы, – зарею пылающе и смеющеся стояла она перед юношом и простирала к нему стройные, обнаженные руки. И веял от ее слов аромат обольстительный и томный, как вздохи нежной туберозы:

– О, милый Юноша, мудрый и страстный, ты знаешь, ты видишь, ты дождешься. Многие любили меня, многие жаждали обладать мною, прекрасные, юные, сильные, многим улыбалась я улыбкою обаятельною, как улыбка последней утешительницы, но никогда никому до тебя не говорила я сладких и страшных слов: люблю тебя. Теперь хочу и жду.

Страстью и желанием звенел ее голос. Она отвязала от пояса шелковый черный шнурок с бронзовым на нем ключом и уже взмахнула рукою, чтобы бросить ключ Юноше, но не успела. Отец уже спешил к ней, заметив еще издали, что она заговорила с незнакомым Юношею. Он грубо схватил ее за руку, отнял от нее ключ и закричал хриплым старческим голосом, противным, как тяжелое карканье старого ворона на кладбище:

– Безумная, что ты хочешь сделать? Не о чем тебе с ним говорить. Этот Юноша не из рода тех, для кого взрастили мы наш Сад, смешав соки этих растений с ядовитой смолою Анчара. Не для таких, как этот голяк, погиб наш предок, надыхавшись тлетворным ароматом страшной смолы. Иди, иди домой и не смей говорить с ним.

Старик повлек дочь к дому, видневшемуся в глубине Сада, крепко сжимая ее руки, обе захватив одною своею рукою. Красавица покорно шла за отцом и смеялась. И был смех ее ясен, звонок, сладок, и жалил тысячами острых жал пламенеющее сердце Юноши.

Он еще долго стоял у окна, долго всматривался напряженными глазами в расчисленные и расчищенные дали очарованного Сада. Но уже Красавица больше не показывалась. Все тихо и недвижно было в дивном Саду, и бездыханными казались чудовищно-яркие цветы, и от них доходил до Юноши аромат, кружащий голову и жутким томлением сжимающий сердце, – аромат, напоминающий темные, стремительные, жадные вздохи ванили, цикламена, датумы и тубероз, злых несчастных цветов, умирающих умерщвляя, чарующих смертною тайною.

Юноша твердо решил проникнуть в дивный Сад, надыхаться таинственными ароматами, которыми дышит Красавица, и добиться ее любви, хотя бы ценою за нее была жизнь, хотя бы путем к ней был путь смертный, путь безвозвратный. Но кто бы помог ему проникнуть в дом старого Ботаника?

Юноша ушел из дому. Долго ходил он по Городу и всех, кого знал, расспрашивал о Красавице, дочери Ботаника. Одни не могли, другие не хотели ввести его в дом старого Ботаника, и о Красавице все говорили недоброжелательно.

Товарищ ему сказал:

– Все молодые Оптиматы Города влюбляются в нее и хвалят ее изысканную и утонченную красоту. Нам же, Пролетариям, ее красота ненавистна и не нужна: ее мертвая улыбка нас раздражает, и безумие, затаившееся в синеве ее глаз, нам противно.

Девушка, вторя ему, говорила:

– Ее красота, о которой говорят много праздные и богатые юноши, вовсе даже и не красота на наш взгляд. Это – мертвая красота разложения и упадка. Я думаю даже, что она румянится и белится. От нее пахнет, как от ядовитого цветка; даже дыхание у нее ароматно, и это противно.

Популярный Профессор говорил:

– Коллега Ботаник – знаменитый и ученый человек; но он не хочет подчинять свою науку высоким интересам гуманности. Его дочь, говорят, очаровательна; некоторые говорят об оригинальности ее костюмов и манер; впрочем, я не имел случая беседовать с нею более или менее обстоятельно; притом же в нашем кругу ее редко можно встретить. Думаю, однако, что ее очарования заключают в себе нечто вредное для здоровья, – до меня дошли странные слухи, за достоверность которых, конечно, я не ручаюсь, слухи о том, что процент смертности среди посещающих этот дом

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
молодых аристократов выше среднего.

Аббат, с тонкою улыбкою на бритом бледном лице, сказал:

– Когда Красавица приходит ко мне в церковь, она молится слишком усердно. Можно подумать, что она замаливает тяжелые грехи. Но я уверен, что нам не доведется увидеть ее в шерстяной сорочке кающейся грешницы.

Мать, выславши из комнаты всех дочерей, сказала:

– Я не понимаю, что в ней находят привлекательного. На нее разоряются, она кокетничает, разбивает сердца юношей, отнимает женихов от невест, а сама никого не любит. Я не позволяю моим милым дочкам, Миночке, Линочке, Диночке, Ниночке, Риночке, Тиночке и Зиночке, вести с нею знакомство. Они у меня такие скромные, милые, любезные, веселые, приветливые, прилежные, такие хозяйки, такие рукодельницы. И как мне ни жаль расставаться с ними, но, так и быть, старшенькую я выдала бы замуж за такого скромного юношу, как вы.

Юноша ушел поспешно. Семь сестриц улыбались ему из окна, теснясь одна за другую. Это было зрелище милое и приятное, но сердце Юноши полно было сладкими, жуткими мечтами о Красавице.

* * *

Старый Ботаник привел свою дочь в дом. Его гнев смягчился, и хотя он до самого порога не выпускал из своей руки с большими костлявыми пальцами сложенных вместе тонких рук весело улыбающейся Красавицы, но уже он не жал их так больно и не толкал ее так грубо. Его лицо было печально. Он выпустил руки своей дочери, и она сама послушно вошла за ним в его кабинет – огромную, мрачную комнату, стены которой были загромождены полками с множеством книг, громадных, запыленных.

Ботаник сел в обитое темною кожею кресло у своего тяжелого дубового стола. Он казался усталым. Прикрыл глаза, еще юношески блестящие, пергаментно-желтою, дрожащею рукою и укоризненно смотрел из-под руки на дочь. Красавица стала на колени у его ног, и смотрела снизу в лицо старого Ботаника, и улыбалась нежно и покорно. Она стояла прямо, с опущенными руками, и в позе ее была смиренная покорность, и в улыбке обольстительных уст было нежное упрямство. Лицо ее казалось побледневшим, и казалось, что на губах ее зыбко пламенеет безумие смеха и что в синеве ее глаз затаилось безумие тоски. Молчала и ждала, что скажет отец.

И он сказал медленно, словно с трудом находя слова:

– Милая, что же я слышал? Не ждал я от тебя этого. Зачем ты это сделала?

Красавица склонила голову и сказала тихо и печально:

– Отец, рано или поздно это же должно совершиться.

– Рано или поздно? – спросил отец, как бы с удивлением. И продолжал: – так пусть это лучше совершится поздно, чем рано.

– Я пламенею, – тихо сказала Красавица.

И улыбка на ее устах была как отблеск знойного пылания, и в глазах ее затаились синие молнии, и ее обнаженные плечи и руки были как тонкий алебастровый сосуд, наполненный расплавленным металлом. Порывисто дышала высокая грудь, и две белые волны рвались из тесных объятий ее платья, нежный цвет которого напоминал желтоватую розовость персика. Из-под складок недлинной одежды были видны трепетно лежащие на темно-зеленом бархате ковра стройные ноги, обвитые розовыми лентами золоченых сандалий.

Отец тихо покачал головою и сказал печально и строго:

– Ты, милая дочь, столь опытная и столь искусная в дивном умении чаровать, оставаясь непорочною, должна знать, что еще рано тебе отходить от меня и бросать недовершенный мой замысел.

– Но ведь этому не будет конца? – возразила Красавица. – Они приходят вновь и

вновь.

– Никто не знает, – сказал Ботаник, – будет ли этому конец и увидим ли мы завершение нашего замысла или передадим его иным поколениям. Но мы сделаем, что можем. Вспомни, что сейчас должен прийти к тебе молодой Граф. Ты поцелуешь его, – но не более, – и дашь ему отравленный цветок по его выбору. И он уйдет, полный сладких надежд и трепетных ожиданий, – и опять свершится и над ним неизбежное.

Выражение покорности и скуки легло на лицо Красавицы.

– Иди, – сказал отец.

Наклонился, поцеловал ее в лоб. Красавица прильнула знойно-алыми губами к его морщинистой желтой руке, прижалась к его сухим коленям белою полуобнаженной грудью, вздохнула и встала. И вздох ее был как свирельный стон.

Через полчаса Красавица, нежно улыбаясь, говорила молодому, красивому, надменному Графу, стоя перед ним среди Сада, у круглой клумбы с яркими, громадными цветами, от которых исходил одуряющий аромат:

– Милый Граф, вы хотите очень многого. Желания ваши слишком пылки и слишком нетерпеливы.

Улыбка ее была так же нежна и лукава, и непорочно-ясные взоры ее с ласковым любованием скользили по стройной фигуре молодого Графа и по его богатому наряду, сшитому модно и красиво из самых дорогих тканей и украшенному золотом и самоцветными камнями.

– Милая очаровательница, – говорил Граф, – я знаю, что вы были холодны ко многим, искавшим вашей благосклонности. Но ко мне вы будете более ласковы. Я сумею добиться вашей любви. Клянусь честью, я заставлю потемнеть от страсти холодную синеву ваших глаз.

– Чем же вы стяжаете мою любовь? – спросила Красавица.

Непроницаемо было выражение ее прекрасного лица, и ее голос не обличал того волнения, которое легко овладевает девами, когда они слышат знойный голос внушенной ими страсти.

Но самоуверенный, надменный Граф не смутился. Он говорил:

– От предков моих досталось мне немало сокровищ, и я сам, золотом и отвагою, приумножил их. Много у меня драгоценных камней, перстней, ожерелий, запястий, восточных тканей и ароматов, арабских коней, шелковых и атласных одежд, редкого оружия, и другого много, чего и перечислить скоро не сумею, чего даже не сразу и вспомню. Все я рассыплю у твоих ног, очаровательница, – рубинами оплачу я твои улыбки, жемчугами – твои слезы, золотом – твои ароматные вздохи, алмазами – твои поцелуи и ударом верного кинжала – твою лукавую измену.

Красавица засмеялась. Сказала:

– Еще я не ваша, а уже вы боитесь моей измены и угрожаете мне. Ведь я могу и рассердиться на это.

Граф порывисто склонил перед Красавицею колени и осыпал поцелуями ее руки, гибкие и стройные, от нежной кожи которых подымалось легкое, жуткое благоухание.

– Простите моему безумию, очаровательная Красавица, – молил он, вдруг забывши всю свою надменность, – любовь к вам лишает меня покоя и подсказывает мне дикие поступки и странные слова. Но что же мне делать! Я люблю вас больше, чем мою душу, и за обладание вами готов заплатить не только моими сокровищами, не только моею жизнью, но и тем, что дороже мне жизни и спасения души, – моею честью!

Красавица сказала очаровательно ласково:

– Ваши слова тронули меня, милый Граф. Встаньте. Я не возьму с вас непомерно большой платы за мою любовь, – она не покупается и не продается. Но кто любит, тот должен уметь подождать немного. Истинная, верная любовь всегда найдет путь к

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
сердцу возлюбленной.

Граф поднялся. Изысканным жестом он оправил кружевные манжеты своего атласного зеленого кафтана и устремил на Красавицу долгий, восторженный взор. Глаза их встретились, и непроницаемо по-прежнему было выражение непорочно светлых глаз Красавицы.

Охваченный смутною тревогою, которая в минуты смертной опасности одолевает даже надменных и самоуверенных, Граф отошел от Красавицы. На скамье недалеко лежал красиво изукрашенный дубовый ларец. Граф открыл его и с почтительным поклоном поднес Красавице.

Солнечные лучи веселым смехом задрожали на бриллиантах и рубинах диадемы. И казалось надменному Графу, что сияние и смех падают на многоценные камни от рдеющих уст Красавицы. Но улыбка ее была такая же, как и раньше, и она любовалась подарком как малоценным, хотя и приятным знаком внимания. Потом на миг опечалилась легко, отуманилась и сказала:

– Мои предки были рабами, а ты даришь мне диадему, от которой не отказалась бы и царица.

– Очаровательница! – воскликнул Граф, – ты достойна и еще более блистающей диадемы.

Красавица улыбнулась ему приветливо и опять опечалилась легко, отуманилась и говорила тихо:

– Доля моих предков – горячие капли крови под бичами жестоких, а мне – торжественные рубины увенчанной радости.

И совсем, совсем тихо шепнула:

– Но не забуду.

– Что же вспоминать о давно минувшем! – воскликнул Граф. – Радостны дни светлой юности, а печаль воспоминаний оставим старости.

Красавица засмеялась, отгоняя смехом грусть, мгновенную, как тучка, тающая на летнем солнце. Сказала Графу:

– За ваш прекрасный подарок, милый Граф, я дам вам сегодня один цветок по вашему выбору и один поцелуй. Только один.

Молодой Граф пришел в такой восторг и выражал его так стремительно и шумно, что Красавица повторила нежно и строго:

– Только один, не более.

И спросила Графа:

– Какой цветок хотите вы, милый Граф, получить от меня?

Граф ответил:

– Прекрасная обольстительница, что вы мне ни дадите, за все я буду вам несказанно благодарен.

Улыбаясь, говорила Красавица:

– Все цветы, которые вы здесь видите, милый Граф, привезены издалека. Они собраны с большим трудом и даже с опасностями. Прилежным уходом отец мой улучшил их форму, и окраску, и аромат. Долго изучал он их свойства, пересаживал их, скрещивал, прививал и наконец достиг того, что из бедных, диких, некрасивых полевых и лесных цветочков образовались эти очаровательные, благоуханные цветы.

– И самый очаровательный цветок – вы, милая Красавица! – воскликнул Граф.

Красавица легко вздохнула и продолжала:

– Аромат их многие находят слишком крепким и одуряющим. И я замечаю, что вы, милый Граф, бледнеете, – мы с вами слишком долго пробыли среди этих знойных ароматов. Я-то привыкла, я с детства надышалась ими, и самая кровь моя пропитана их сладкими испарениями. А вам не следует слишком долго стоять здесь. Выбирайте скорее, какой цветок вы хотите взять от меня.

Но молодой Граф настаивал, чтобы Красавица сама выбрала ему цветок, – он ждал с нетерпением ее второго подарка, обещанного поцелуя – первого ее поцелуя. Красавица посмотрела на цветы. Лицо ее омрачилось опять легкой тенью печали. Вдруг быстро, словно движимая чужою волею, она протянула руку, столь прекрасную в своей обнаженной стройности, и сорвала белый махровый цветок. Замедлила руку, склонила голову и наконец с выражением застенчивой нерешительности приблизилась к Графу и вложила цветок в петлицу его кафтана.

Аромат сильный и резкий пахнул в побледневшее лицо молодого Графа, и в томном бессилии закружилась его голова. Равнодушие и усталость овладели им. Едва помнил себя, едва чувствовал, как взяла его Красавица под руку и увела в дом, от ароматов дивного Сада.

В одной из комнат дома, где все было светло, бело и розово, Граф очнулся. Юношеская свежесть вернулась на его лицо, черные глаза его зажглись опять страстью, и он снова почувствовал радость жизни и буйство желаний. Но уже подстерегало его неизбежное. Белая рука, нагая, стройная, легла на его шею, и ароматный поцелуй Красавицы был нежен, сладок, долог. Две синие молнии ее глаз блеснули близко перед его глазами и призакрылись тихою тайною длинных ресниц. Жуткие огни сладкой боли вихрем закружились вокруг сердца молодого Графа. Он поднял руки обнять Красавицу, – но с легким криком она отшатнулась и, легкая, тихая, убежала, оставив его одного. Граф бросился было за нею. Но в дверях розовой горницы встретил его старый Ботаник. Язвительна была улыбка его тонких губ, алою чертою разрезавших пергаментно-желтое лицо. Граф смутился. С несвойственным ему замешательством, чувствуя во всем теле странную слабость, простился он со старым Ботаником и ушел.

Жуткие вихри сладкой боли все быстрее кружились вокруг сердца молодого Графа, когда он ехал домой верхом на вороном арабском скакуне, еле слыша звонкий стук подков о камни.

Все бледнее становилось его лицо. Вдруг глаза его сомкнулись, рука опустила поводья, и он тяжело склонился, падая с седла. Испуганный конь взвился на дыбы, сбросил седока и помчался. Графа подняли уже мертвым, с разбитою о камни головою. И не знали, отчего он умер. Дивились, – такой был искусный наездник.

* * *

Настала ночь. Сладко и тревожно светила полная луна, ворожа и чаруя лучами холодными, могильно-тихими. Смутным страхом полно было сердце Юноши, когда он подошел к своему окну. Рука его, захватив край желтой занавески, долго медлила и колебалась, прежде чем он решился не спеша отвести в сторону занавеску. Медленно свиваясь, шуршало желтое полотно, и шелест его сходил был со змеиным еле слышным свистом в лесной заросли; и тихо звенели и скрежетали о медный прут медные легкие кольца.

Красавица стояла под окном, и смотрела на окно, и ждала. И сердце Юноши дрогнуло, и не мог он понять, страхом или восторгом томилось его сердце.

Черные косы Красавицы были распущены и падали на ее нагие плечи. Резкая тень лежала на земле рядом с нею. Освещенная сбоку луною, стояла она, подобная резкому, отчетливому видению. Та половина ее лица, которая была освещена луною, и ее плеча, ее руки были мертвенно-белы, как белый цвет ее туники. Складки белой туники были строги и темны. Темна была синева глаз Красавицы, загадочна была ее неподвижная улыбка. На странной успокоенности ее тела и ее одежды тускло поблескивала гладкая матовая пряжка, застегнутая на плече.

Заговорила тихо, и амброю, мускусом и туберозою благоухали ее слова, звенящие, как тонкие серебряные цепи у зажженного кадила.

– Милый Юноша, я люблю тебя. Повинуясь твоему призыву, я нарушила волю моего отца и пришла к тебе, чтобы сказать: бойся меня и моих чар, беги от этого

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Старого Города далеко, а меня оставь моей темной судьбе, меня, упоенную злым дыханием Анчара.

– О, прекрасная! – отвечал ей Юноша, – ты, которую я едва узнал и которая уже для меня дороже моей жизни и моей души, – зачем говоришь ты мне эти жестокие слова? Или ты не веришь моей любви, которая зажглась внезапно, но уже не погаснет?

– Я люблю тебя, – повторила Красавица, – и не хочу тебя погубить. Дыхание мое напитано ядом, и прекрасный Сад мой отравлен. Тебе первому я говорю это, потому что я люблю тебя. Торопись же оставить этот Город, беги от этого Сада с его тлетворною красотой, беги далеко и забудь обо мне.

Упоенный восторгом и печалью, сладчайшею всех земных радостей, Юноша воскликнул:

– Возлюбленная моя! Что же мне от тебя надо? Не одного ли мгновения жаждет моя душа! Сгореть в блаженном пламени восторга и любви и у сладчайших ног твоих умереть!

Легкий трепет пробежал по телу Красавицы, и вся она стала как ясная радость зари за белым туманом. Торжественным, широким движением подняла она свои белые нагие руки, и вся стремилась к Юноше, и говорила:

– О, возлюбленный мой! Так будет, как ты хочешь, и с тобою умереть мне сладко. Иди же ко мне, в мой страшный Сад, и я расскажу тебе мою темную повесть.

Опять, как утром, в руке ее блеснул бронзовый ключ на розовой ленте. Засмеялась, – резво, как мальчик, отбежала назад, мелькая на желтом песке дорожки белизною стройных ног, – размахнулась быстро и ловко, – и метнула ключ в окно. Юноша протянул руки и на лету схватил ключ.

– Милый, я жду, я жду! – повторяла Красавица.

* * *

Там, в отравленном Саду, под сенью таинственных растений, где неживая луна смешивала отраву своей тоски с ядовитым дыханием земных злых цветов, стояли они, Юноша и Красавица, упоенные восторгом и печалью. Они глядели в глаза друг другу, и Красавица голосом, звенящим, как хрупкий голос клавесина, говорила:

– Мои предки были рабами, – но и рабы жаждут свободы. Повинуясь повелению господина, один из моих предков совершил утомительно долгий путь, чтобы достигнуть пустыни, где растет Анчар. Он собрал ядовитую смолу Анчара и принес ее господину. Отравленные стрелы доставили господину немало побед. А мой предок, надыхавшийся злых благоуханий, умер. Его вдова задумала отомстить злему роду победителей. Она воровала отравленные стрелы, мочила их в воде и, как многоценное вино, прятала эти настои в глубоких подвалах. Каплю настоя вливала она в бочку воды и этою водою поливала пустырь на краю Старого Города, где теперь наш дом и этот Сад. Потом брала каплю воды со дна этой бочки, вмешивала ее в хлеб и кормила им своего сына. И стала почва этого Сада отравленною, и сыну своему привила она яд. И с того времени весь род наш, из поколения в поколение, питался ядом. И ныне в жилах наших течет пламенеющая ядом кровь, и дыхание наше ароматно, но пагубно, и кто целует нас, тот умирает. И не слабеет сила нашего яда, пока живем мы в этом отравленном Саду, пока мы дышим ароматами этих чудовищных цветов. Семена их привезены издалека, – мой дед и мой отец были везде, где можно достать злые и вредные людям растения, – и здесь, в этой издавна отравленной почве, эти злые, эти пагубные цветы раскрыли всю свою гневную силу. Благоухая так сладко, так радостно, они, коварные, и росу, падающую с неба, претворяют в гибельную отраву.

Так говорила Красавица, и радостно звенел ее голос, и лицо ее пылало великим ликованием. Кончила рассказ и засмеялась тихо и невесело. Юноша склонился перед нею и молча целовал ее руки, вдыхая томительное благоухание мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. Красавица заговорила опять:

– Приходят ко мне потомки угнетателей, потому что чарует их моя злая, моя отравленная красота. Я улыбаюсь им, обреченным смерти, и каждого из них мне жаль, а иных я почти любила, но не отдавалась никому никогда никому. Только одним поцелуем дарю я каждого, – поцелуи мои были невинны, как поцелуи нежной

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
сестры. И тот, кого я целовала, умирал.

Ужасом смерти и несказанным восторгом, одновременно двумя столь несходными страстями томилась душа смущенного юноши. Но любовь, побеждающая все, преодолевающая даже и томления предсмертной тоски, победила и ныне. Восторженно простирая к нежной и страшной Красавице трепетные руки, воскликнул Юноша:

– Если в поцелуе твоём смерть, о, возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей! Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было мною!

– Ты хочешь! Ты не боишься! – воскликнула Красавица.

Бледное в лучах неживой луны лицо Красавицы стало как матовый светоч, и были трепетны и сини молнии ее печальных и радостных глаз. Движением доверчивым, нежным, страстным она прильнула к Юноше, и ее нагие, стройные руки обвились вокруг его шеи.

– Мы умрем вместе! – шептала она. – Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как объятый великим пламенем костер.

– Я пламенею! – шептал Юноша. – Я сгораю в твоих объятиях, и мы с тобой – два пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви.

Тускнела и падала печальная, неживая луна, – и черная ночь пришла и стала на страже. Тайну любви и поцелуев, ароматных и отравленных, осенила она мраком и тишиною. И слушала согласный стук двух замирающих сердец, и в чутком молчании сторожила последние легкие вздохи.

Так в отравленном Саду, надыхавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою ее любовью, жалящею нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша, – и на груди его умерла Красавица, сладким очарованиям ночи и любви предав свою отравленную, но благоухающую душу.

Опечаленная невеста

Когда же и быть странностям, как не в наши дни? Свирепые и печальные дни, когда неистощимым кажется многообразие воплощаемых в жизни возможностей.

Несколько молодых девушек в наши дни составили кружок, доступ в который был довольно труден и цель деятельности которого могла бы, конечно, быть названа странною.

Когда умирал в городе молодой человек, у которого еще не было невесты, одна из участниц кружка надавала глубокий траур, и приходила на похороны, как невеста.

Родные удивлялись очень, знакомые меньше, но и те и другие верили, что около свежей могилы есть красивая и печальная тайна.

В кружке участвовала и Нина Алексеевна Бессонова, молодая скучающая почему-то девушка, не очень красивая, но достаточно миловидная. В неё то и влюблялись даже, – что же и делать подрастающим гимназистам! – а ей все скучно было.

И вот, после одной из подруг, наступила и для Нины очередь проводить в могилу неведомого жениха.

– Следующий – ваш, – сказали ей.

Завидовали те, на кого еще не падал жребий. С сочувствующей печалью смотрели на Нину те подруги, которые уже исполнили свое печальное и красивое назначение.

В этот день Нина вернулась домой, странно взволнованная.

И потянулись для неё длинные и томные дни бездейственно-тоскующей печали.

Тягостные предчувствия томили ее, и на каждом шагу подстерегали приметы, вещающие утрату, слезы, гибель близкого сердцу.

Как тягостно знать, что исполнятся неведомые сроки, и умрет некто, еще незнакомый, но уже милый и дорогой! И с ним погибнет возможность счастья.

И кто он будет? И почему суждено ему не встретиться с нею ближе гробового предела? Быть может, спасла бы, уберегла бы, вымолила бы от жестокой судьбы часы и дни сладкого забвения печалей.

Не знаю, кто он будет, но как его жалко! Какая тоска.

Такой молодой, – и неумолимая уже следит за ним, подстерегает, – и нанесет ужасный удар, от которого ничем не спасти, никак не уберечь!

Иногда Нина почти завидовала тем своим подругам по этому кружку, которые уже успели совершить сладостно-печальный обряд, и теперь только донашивали свой легкий, красивый траур. Траур, так идущий к их милым лицам, что прохожие на улицах останавливались посмотреть.

Нельзя было знать заранее, скоро ли случится это событие. Надо быть готовой идти по первому зову, не опоздать. Поэтому Нина заказала для себя весь траурный наряд. Потихоньку от родных. Хотя и досадно было, что приходилось от них прятаться и таиться. О деньгах за траурное платье Нине заботиться не надо было: это был расход, падавший на средства кружка. Кружок имел довольно стройную организацию; собирались в его кассу ежемесячные членские взносы; были, как бывают и в других обществах, и разные случайные доходы.

Но хоть и не надо было заботиться о том, чтобы сразу достать много денег на траур, хоть и можно было сшитое уже и купленное прятать где-нибудь дома, а все же придется когда-нибудь траур надеть. И, конечно, лучше было бы сказать это заблаговременно. Но Нина почему-то стеснялась говорить об этом со своею матерью.

Да и как сказать! Надо объяснить, что и почему, а правила кружка не позволяли говорить о его целях и делах никому, кто не входил в его состав. Пришлось бы придумывать и лгать, и это было противно для Нины. И она откладывала со дня на день, а потом решила предоставить все случаю.

Как-нибудь обойдется, – думала она.

Платье принесли, – Нина выбрала час, когда матери не было дома, – и спрятала его в своей комнате.

По вечерам она раскладывала на постели и на стульях траурные наряды. В комнате её все было бело и розово, прозрачные колыхались легкие занавесочки на окнах, нежно и ласково пахли полевые цветы в красивых вазах, и за окном над далеким, сталью голубеющим морем полыхал девичьим румянцем догорающий закат. И от этого всего девственно-чистого и светлого черные одежды казались особенно страшными, и пугали сердце, и быстрые исторгали из тоскующих глаз потоки слез.

Глядела на черный цвет, и плакала. Плакала долго.

Иногда примеряла траур, и смотрелась в зеркало. Черный цвет, и скромный покрой платья, и строгий фасон шляпы, – все это было ей так к лицу, – и от этого еще печальнее становилось на сердце, и еще неудержимее хотелось плакать.

И по утрам, просыпаясь, открывала глаза с тайным страхом, – не пришло ли уже оно, жданное горе. Солнце было уже высоко, сад пламенел, залитый расплавленным великолепием драконовой лютой злости, и сквозь легкие, розоватые, сквозные пленки нарядных занавесок метался в глаза неистовый день. И навстречу дню и буйству стремительной жизни бросала Нина злое слово, яд тоскующего предчувствия:

– А он, мой милый, скоро умрет!

И выходила в столовую смутная, туманная, смятением милого лица странно противоречила легкому, светлому наряду дачной барышни.

Мать смотрела на нее с недоумением, и спрашивала:

– Да что ты скучаешь, Ниночка? О чем волнуешься? Что с тобою?

Нина отмалчивалась, загадочно и печально улыбаясь, и садилась на свое место за столом, тихая, кроткая, красивая, к лицу одетая, к лицу причесанная, и совсем похожая на героиню романа, завязка которого не обещает счастливого конца.

И мать не могла добиться правды, что с Ниною.

Но вот однажды, в минуту внезапной откровенности, разнеженная печалью и замороженной тишиною северной белой ночи, взволнованная красивыми взлетами недалеких фейерверков на чьих-то незнакомых именинах прямо против веранды их дачи, где сидели они тогда вдвоем после вечернего чая, – Нина доверчиво прижалась к матери, вдруг заплакала, и сказала очень тихо, нежная, сумеречно-белая, на темно-сером платье матери выделяясь успокоенно-красивым пятном:

– Так тяжело на сердце! У меня предчувствие, что что-то будет... что-то страшное... горе какое-то.

Мать обеспокоилась. Обняла Нину. Приговаривала ласково, как малого ребенка утешала:

– Что ты, Ниночка, Бог с тобою, чему быть? Что будет? Ты, дитя мое, в предчувствия не верь, ты же не старушка. Да и кто в наши дни верит в это?

Нина вытерла слезы, притворно спокойным голосом сказала, притворно улыбаясь:

– Правда, мама, я и сама знаю, что это очень глупо, а только все мне кажется, что ему грозит несчастье.

– Кому, Нина? – спросила мать.

Слегка отодвинулась, – взглянуть на дочь, щуря серые, немного близорукие глаза. Нина говорила, и чуть не плакала:

– Моему милому, жениху моему.

– Что ты, Ниночка! – с удивлением говорила мать. – Какому милому? Разве у тебя есть жених!

– Нет жениха, – тоскливо говорила Нина, – нет, но что же из того? А вот, предчувствие такое у меня, что вот я влюблюсь в него, и он будет мне света милее и жизни дороже, – и вдруг он умрет.

И Нина опять заплакала неутешно, – и мать с удивлением ласкала и уговаривала ее. Поила какими-то каплями. Нина всмотрелась в её испуганное, смешно-озабоченное лицо, и засмеялась.

В этот вечер не любовалась траурными одеждами, и заснула спокойно. А на утро, едва открыла глаза, едва расслышала веселые птичьи смехи и голоса Минки и Тинки, споривших о чем-то, опять приступила тоска.

Два гимназистика, её маленькие братья, Минка и Тинка, смеялись над её таинственной печалью. Дразнили ее.

И было ей так грустно, что даже не сердилась она на мальчишек, надоедливых, шумных, и глупых, – несмышленицей.

День клонился к вечеру, но было еще жарко и ярко на празднично-летней земле, и торжественно казалось ширина и тишина высокого купола. Нина стояла на широком пляже, и всматривалась в просторы воды и небес.

Проносились какие-то птицы, маленькие, быстрые, суетливо-озабоченные, и в воздухе над Ниною шныряли их длинные, тонкие писки.

Плотный мелкий, укатанный волнами песок сообщал её стопам свою теплую хрупкость и влажность. Слегка щекотал кожу нежных ног, еще не загрубевшую от частых прикосновений к милому песку земных взморий.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Волны плескались, набегаая, – безветренные, широкие волны близкого, милого моря, – где люди тонут, как и в далеком, – плескались волны, набегаая, лобзая стройные, уже загорелые ноги. И весело, и свободно под легкой одеждою дышала грудь, вздымая две смуглый волны.

Стояла, смотрела в синюю даль, мечтала томительно, сладко, печально.

Кто же будет он, мои милый, кого провожу в могилу, над кем заплачу? И глаза, которые на меня никогда не глянут, и губы, которые мне никогда не улыбнутся.

Не молвит слова, не обнимет, не скажет:

Милая, люблю! милая, дороже ты для меня жизни!

Темным предчувствием печали томилось сердце, и хотелось плакать, – да еще не о чем было плакать.

А как отраднo было бы упасть на песок, и рыдать в безмерном отчаянии, ветрам и волнам поверяя печаль омраченной души!

Вспомнила вчерашний разговор с одною из подруг о предстоящей дуэли князя Ордын-Улусова с мужем женщины, которая его любила. Как жаль, что нельзя идти за гробом юного красавца Улусова! – ведь он любит другую, и всем уже известна в город история этой любви, красивой, трогательной и безумной: – любовь, если в ней правда, воистину презирает все условия жизни, и дерзает даже до смерти.

Да, может быть, еще и не убьет ни один из соперников другого, и все окончится на этот раз благополучно. И пусть живет, ей то что!

Нетерпение предчувствий возрастало, томило нестерпимо.

Пламенеющее небо заката пылало, яркою страстью отравляя тихую печаль души, над миром распростирая багряное отчаяние в потоках многоцветно-горящей крови под изнемогающей пустынею холодного зенита.

Нина пошла домой. Сырым и неприятным казался песок. И досадно стало, зачем оставила дома башмаки, и идет босая.

Да нет, не на это досадно, – так, беспредметное томление, неясная тоска. Бремя, которое надо нести.

Близ своей дачи Нина увидела знакомую фигуру. Всмотрелась, – Наташа Лещинская.

И обрадовалась Нина, и словно испугалась. Не приходит ли она с ужасною, жданною вестью? Идет, как судьба, измучить печалью, изранить тоскующее сердце.

Уже издали было видно, по торопливости и неловкости движений, что Наташа взволнована чем-то. И что, конечно, несет с собою какое-то значительное известие.

У Нины от волнения задрожали руки и похолодали колени. Хотела бежать к подруге, но вдруг сердце так забилося, что Нина должна была остановиться.

Покраснела. Стояла, улыбаясь и держа скрещенные руки на груди, в неловкой, странной позе. Такая смущенная, неверная была улыбка.

– Наташечка, это ты? – сказала как-то неловко. – Как я рада!

И замолчала, сбита неверностью своих интонаций.

– Ну, Ниночка, – сказала Наташа, подходя и слегка запыхавшись от быстрой ходьбы.

И у неё было озабоченное лицо, а разбившиеся, подвитые на шпильках черные волосы, выбившиеся из-под желтой соломенной с желтым страусовым пером шляпки придавали её смуглому лицу какой-то мальчишески-задорный и излишне самоуверенный вид.

– Да? умер? мой? – бессвязно, испуганно спрашивала Нина.

Наташа оживленно говорила:

– Умер. И, можешь представить, застрелился! Правда, интересно? Тебе счастье.

Нина заплакала. Казалась такою жалкою, растерявшеюся, милою среди этого пронизанного розовым и голубым светом простора, в своем простом синем с белыми полосками обшивки костюме, с загорелою стройностью тонких тихих ног, перед этою нарядною в многотонно-желтом, тяжело дышащую от скорой ходьбы по песку на высоких каблуках, румяно-смуглою, бойкою гостьею.

Плача, тихо спросила Нина:

– кто?

Звук её голоса был тонкий и робкий, как у плачущего ребенка.

Наташа ласково пожала её руку.

– Правда, очень жаль, – сказала она. – Молодой очень. Студент Иконников.

– Один? – спросила Нина.

– Да, он был один, когда застрелился. Семья жила на даче. Он приехал днем в пустую квартиру, писал письма, сам опустил в почтовый ящик, один переночевал. Утром застрелился. Никто и не знал в доме, пока родители не приехали, – он и им послал письмо на дачу. Они, кажется, в Павловске жили.

Нина молчала. Уже в саду своей дачи она вопросительно взглянула на Наташу. Отвечая на этот взгляд, Наташа сказала:

– Послезавтра хоронят. В Петербурге.

Пришли домой.

– О чем ты плачешь, Нина? – спросила мать.

– Он умер, – коротко ответила Нина, сухим, словно враждебным тоном.

– кто умер?

Как почти всегда у стареющих женщин, внезапное упоминание о смерти чьей-то обдало Нинину мать холодом страха, – точно сказал кто-то внятным и темным голосом:

– Умрешь и ты!

– Ах, мама, – с непривычною досадливостью ответила Нина, – ты, все равно, не знаешь его.

«Я и сама не знаю», – подумала Нина.

И оттого, что эта мысль вплелась смешною ниткою в печальную ткань переживаемого, стало еще больнее.

Мать обратилась к гостье:

– Скажите хоть вы, Наташа, кто умер.

Наташа, снимая шляпу перед зеркалом, говорила неторопливо, стараясь быть спокойною, но сама почему-то волнуясь:

– Застрелился студент, наш знакомый, Иконников. В городе. Неизвестно, отчего. Такой молодой. Знаете, так много самоубийств в наши дни, и так жалко. Молодой такой, и никто не знает причины. Рана в виске, – маленькое синее пятно, точно расшиблено. И лицо совсем спокойное.

– Я пойду на панихиду, – решительно сказала Нина.

– Нина!

Мать сила на кресло, смотрела на дочь, и не знала, что сказать.

– Непременно! Ради Бога, не удерживайте! – восклицала Нина.

Наташа села рядом с Александрю Павловною, и говорила тихо:

– Пожалуйста, не беспокойтесь. Я с нею пойду, и буду все время вместе.

Нина ушла к себе.

– Что с нею? вы не знаете, Наташа? – спрашивала Александра Павловна. – Она так хандрила все эти дни. Что это? Кто этот Иконников?

– Она такая впечатлительная, – говорила Наташа. – Иконникова я мало знаю. Не знаю, право. В наши дни так много всего, что угнетает. Какие у них были отношения, правда, я не знаю.

Нина вышла скоро, вся в трауре, и уже в перчатках и шляпе с опущенною вуалью, – и опять с недоумием смотрела на неё мать.

– Нина, да откуда у тебя траур?

– Ах, мама!

– Нина, это не ответ. Я хочу знать. Ты должна.

– Мама, не истязай меня. И так трудно. Я говорила тебе, что предчувствовала беду. Мой жених умер. Я сейчас иду.

И говорила уже почти спокойно.

– Подожди, хоть чаю выпейте. Все равно, на какой же теперь поезд, – с недоумением, страхом и досадою говорила мать.

И медлительно влачилс я скучный час ожидания. Ненужное питье, противная пища, свет лампы, смешанный с багряным умиранием израненной зари, заставляющее вздрагивать звяканье ложек, и смешки Минки и Тинки, и недоумевающее допросы матери, – и что-то надо говорить!

Нина была очень печальна. Несколько раз принималась плакать. Наташа озабоченно шептала:

– Ты слишком рано начинаешь. Ты устанешь. У тебя не хватит настроения в решительные моменты.

– Оставь, Наташа. Ты ничего не понимаешь, – досадливым шепотом отвечала Нина.

Но вот и в вагоне, с Наташею.

Вагон наполовину пуст. Два-три случайные попутчика с сочувственным любованием смотрели на Нину.

Наташа спросила:

– Нина, да ты его не встречала?

– Конечно, нет.

– Так что же ты плачешь?

– А разве легко хоронить жениха?

И вдруг Нина рассмеялась.

– Я и не плачу. Я смеюсь.

– Со слезами?

– До слезь смешно. Плакала.

Наташа старалась обратить её мысли на веселое, приятное, смешное. Не удавалось.

– Ну, какая ты плакса, – говорила Наташа. – Пожалуйста, возьми себя в руки. Еще до истерики дойдешь – что я с тобою в вагоне стану делать?

Было уже темно, когда ехали по улицам летнего города, и все вокруг для Нины было, как бред кошмара, становящегося к осуществлению.

Между двумя тучами сиял бледный месяц, – и в воде канала струилось его зыбкое отражение. И горькая была отравка в мерцании безмерно-тихом над грубыми грохотами злых, грязных улиц.

Увеселительный сад сверкал разноцветностью гирлянд из красных, желтых и синих фонариков над белою скукою забора и наглостью пестрых на серой стене афиш.

Подъезжали и подходили пестро-наряженные и грубо-размалеванные, и чей-то невидимый, но всем давно знакомый указательный палец упирался в откровенно-жалкое слово «дешевый разврат».

Было веселье в толпе, идущей веселиться, бедное, старательное веселье во что бы то ни стало.

Оскорбительное веселье, – когда на душе такая печаль. Жестокие люди! Как они могут веселиться, когда он, молодой, прекрасный, лежит с простреленною головою!

Нина переночевала у Наташи. Там легче было, чем дома. Наташа сказала тихо:

– У неё жених умер.

И никто не докучал. Нежно и любясь жалели. Снились ласковые и печальные, и немного страшные, – скорее жуткие, – сны.

Солнце, равнодушное к земной печали, яркое и злое, тихо, точно крадучись, метнуло в окно свое расплавленное трепетание, животворящее к смерти: огонь, – и все шире и ярче из-за темного занавеса разливалось по зеленому ковру его знойно-жидкое золото.

Было утро дня, сулящее печали и труды, и безнадежные молитвы.

И на чужой постели, над залитым злым золотом зеленым ковром проснулась Нина, – и слезы в глазах, и слабость в теле, и слышит внятное слово:

– Умер.

Никем не сказанное, – и связанное печалью, дрогнуло и упало сердце.

И слезы...

Думала:

«И уже теперь всю жизнь, просыпаясь, буду вспоминать, что он, милый мой, умер».

Одеваясь, заметила, что траур ей к лицу. Радостно улыбнулась. Торопила Наташу, – вместе доехать до того дома, где жил он, её милый. Но тщательно положила над загорелюю бледностью милого лица складки черной вуали...

Цветы и ковры на лестнице у его квартиры, – оранжевые и зеленые листья из стекол в медных оковках на окнах, – бронза перил и мрамор колонн, – так, до конца печаль останется красивою, и не оскорбит ее пахнущая кошками неопрятная лестница со двора.

На площадке третьего этажа у дверей квартиры белая гробовая доска... И каменные качнулись стены...

Под локтем Наташина рука. Ее тихий голос:

– Здесь. Нина, милая!..

Нина вошла, закрытая длинною черною вуалью, молчаливая, подавленная горем. Не видя никого, прошла прямо в зал, где на высоком черном катафалке, в белом гробу, лежал её милый.

Кто-то ходил, раздавая свечи для панихиды, и из боковой двери вился дымок разжигаемого кадила. В зале было немного людей, – и появление Нины было замечено очень. Не знал её никто, и все дивились глубокому трауру и слезам неизвестно откуда пришедшей девушки.

Нина подошла близко, постояла у гроба, и тихо поднялась по ступеням катафалка. Покров, цветы, желтое лицо. Всмотрелась, наклоняясь, в тихую улыбку покойника.

Как страшно, как холодно улыбаются мертвые губы! Какие холодные тоскующим губам невесты его мертвые губы! Не дрогнуть жарким поцелуем целуемые жарко могильно холодные мертвые губы!

Ужаленная холодом мертвых губ, слабо вскрикнула Нина. Кто-то взял под руку и помог спуститься с катафалка на строгий желтый лоск паркета. И точно поставил плачущую на колени, когда началась в синем дыме ладана панихида.

Было перешептывание родных:

– Кто?

– Вот эта?

– Вы не знаете?

– Никто, кажется, не знает.

Наташа стояла у двери. Кто-то спросил ее:

– Не знаете ли, кто эта барышня в трауре, которая так плачет?

Так же тихо ответила Наташа:

– Это – невеста покойного.

– Но никто из родных ее не знает, – с удивлением шептал спрашивающий.

– Да. Это печальная история.

Стали передавать один другому:

– Это – невеста покойного.

Родные были в недоумении. Но все поверили. И как было не верить!

Для всех этих, родных и чужих, различно настроенных людей, печальных и равнодушных, Нина, никому не знакомая, плачущая, милая и жалкая в её траурном наряде, была воистину невестою этого неизвестно почему застрелившегося студента, тихого и красивого в своем белом, красивом гробу. Никто не знал, какая тайна связывает этот гроб и эту плачущую девушку, – и не она ли была причиною его смерти, – но всем было трогательно смотреть на нее. Рядом с отчаянием седой старухи матери и тупым горем старика отца, выразавшимися так сильно и так внешне некрасиво, с покраснелостью глаз, со слезливым насморком, с растрепанною прическою седых волос, немая скорбь этой молящейся на коленях девушки в трауре казалась возвышенною и прекрасною. И хотя все знали родителей, а её никто не знал, всем было гораздо более жаль ее, милую, жалкую, трогательно склонившую колени, такую изысканно-очаровательную под складками её полупрозрачной креповой вуали. И даже бывшая у иных мысль о том, что опечаленная и плачущая невеста могла быть причиною смерти этого прекрасного молодого человека, осыпанного в гробу благоухающими ненужным ему ароматом цветами, – даже и эта жестокая и

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
суровая мысль не побеждала сожаления к ней, рожденного в тихих потоках её светлых слез. И её глубокая печальность, и склоненное к холодным паркетам её орошенное слезами лицо, и вся её скорбная фигура, – о, если в этом горе есть неумолимое дуновение злых раскаяний, что же, разв от этого еще не более жалко её? Мало ли из-за чего ссорятся и временно расходятся любящие люди, – а ведь она, очевидно, любила его, – по нелюбимым так не плачут и траура не надевают, – мало ли что бывает между милыми, а он, жестокий, убил себя, не стерпел легкой печали, навек погрузил её сердце в ужас и тоску страшного воспоминания!

А она, плачущая и молящаяся невеста неведомого жениха, она, отдавшаяся покорно порывам своей творимой печали, – что чувствовала она?

Как ни была она рада отдать свое сердце томлениям печали, как ни приготовлена была она к этому тоскою сознанных предчувствий, – все же представшее ей превзошло её ожидания.

Очарование этого молодого и такого смертельно спокойного лица, к которому припала она для поцелуя притворной скорби, в один краткий миг овладело ею, – и чувствовала она, что доведу не свергнуть ей этого сладкого и жгучего очарования. Что-то более прекрасное, чем красота, и более властное, чем власть любви, презирающей могильный холод и мрак погребального склепа, нечто неизъяснимое и невыражаемое никакими человеческими словами, обаяние, ведомое одной только смерти, пришло к ней, – и уже знала она, что лежащий в белом гроб, осыпанный алыми розами, обвеянный взмахами пламенеющего кадила, окруженный зыбкими волнами синего ароматного дыма, где растворен темный ладан, что он воистину желанный, возлюбленный её жених.

И когда спускалась она со ступеней чёрного катафалка, и глазами, полными тоски, окинула простор холодного покоя, отыскивая, где бы ей укрыть свои слезы, уже нестерпимую мукою было пронизано её сердце. Она сделала два три шага, и почувствовала, что голова её кружится. Она повернулась лицом к гробу; возрастающая слабость была в её дрожащих коленях. Уже не выбирала она места и, где пришлось, опустилась, почти упала близ гроба. Рядом с нею плакала седая мать, тихо, слезливо всхлипывая. Черная ряса священника медленно двигалась близко от её лица. Она заплакала, припала лицом к рукам, брошенным на пол, и над нею звякнули тихим звяканьем колечки кадильной цепи, пронесся низкий и уверенный голос диакона, и грустно, красиво и звонко полилось панихидное пение, – слова трогательные, значительные, более веские, чем бедная вира людская, такие мудрые, такие утешающие, – и такие неутешительные.

Закрыв лицо руками, едва слыша слова и пение, едва вдыхая ладан грусти, она ясно видела перед собою лицо покойного, внезапно ей милое. Видела его живым, – смеялись глаза, и уста, полуприкрытые черными усами, двигались, и слова были мудрые и правдивые, и слова были о том, что неизменно близко и дорого сердцу. Всмотривалась, – ж черты лица, в короткую минуту целования схваченные цепкою памятью внезапно влюбленной, оживали теперь передо нею, и все яснее представал милый облик. И каждая черта этого лица неложно говорила о чем-то, бесконечно милом и близком.

Кончилась панихида. Уходили. Около родителей покойного были близкие. Утешали, шептали что-то.

Нина стояла одна. Ей казалось, что она окружена чужою и враждебною атмосферою.

Совсем одна...

Неужели уходить? Оставить милого?

Заплакала. Пошла из комнаты, тихая, грустная, милая, жалкая, провожаемая влажными взглядами родных и знакомых.

На лестнице, на площадке нижнего этажа остановилась, плача. И вдруг послышались бегущие сверху легкие шаги. Нина посмотрела вверх по лестнице, – какое-то неясное предчувствие сказало ей, что это за нею.

Девушка в траурном ситцевом платье, с креповым чепчиком на голове, русоволосая и веснушчатая, с серыми и покрасневшими от слез глазами, – горничные так плачут по добрым господам, – быстро сбегала по лестнице. Остановилась перед Ниною.

– Барышня, – тихонько заговорила она, слегка запинаясь, точно конфузясь, – наша барыня, их мамаша просят вас пожаловать к ним на минуточку.

– Зачем? – робко спросила Нина.

– Не могу знать, барышня, – ответила горничная, но видно было по её тону, что знает и хочет сказать. – Только очень просят, – продолжала она. – Кажется, у них письмо. Да не знаю уж что. Только очень просят.

Нина поднялась по лестнице, и смутная боязнь томила ее, навивая ей какие-то внешние опасения, такие мелкие сравнительно с глубиной её печали. Думала:

«Неужели попросят не приходить более? Но за что же? Или станут обвинять в смерти моего милого?»

И ручьем хлынули слезы. Пошатнулась. Горничная поддержала ее под локоть, участливо заглядывая в лицо.

«Пусть обвиняют, – думала Нина, – я не буду спорить. Пусть я виновата. И почему я знаю? И что я знаю?»

Горничная провела ее в гостиную.

Видно было, что вся семья живет на даче, и приехали сюда только для похорон. Мебель была в чехлах и поставлена как-то кое-как, не совсем по зимнему. Зеркало в простенке было наскоро и неровно прикрыто чем-то белым, – это потому, что в доме был покойник.

Нина отвела креповую вуаль от лица, побледневшего под летним загаром и даже словно похудевшего от печали, – и смотрела печальными, робкими глазами на седую худощавую женщину, довольно высокого роста, поднявшуюся ей на встречу с дивана.

«Мать», – подумала Нина.

Как-то механически отмечала:

«Седая. Тонкая. Глаза голубые, светлые. Похожа на сына».

Казалось почему-то, что еще на днях эта женщина с заплаканными глазами и отчаянным лицом не была седой, – тщательно зачесывала волосы, и даже, может быть, подкрашивала их, а теперь вдруг разом опустилась и уже забыла о своей внешности, и о растрепавшихся на голове седых космах.

Пригласила сесть. В этой же комнате, у окна, стоял отец, высокий, прямой старик. Стоял в полуоборот к окну, точно и хотел смотреть на гостью, и хотел скрыть от неё выражение печали на гордом старческом лице.

– Вот, – сказала старуха, – смотрю я на вас, вы одна здесь нам незнакомая. Вот я и думаю, что это вам должно быть письмо от Сереженьки. Вам?

– Не знаю, – сказала Нина. – Как я могу знать?

Старалась не плакать, а слезы опять хлынули из глаз. Заплакала и мать.

– Так это для нас неожиданно, – говорила она. – Ждем Сереженьку к обиду, – он на день в город уехал, – и вдруг... Да, о письма-то я начала. Видите...

Старуха вынула из альбома, лежащего на столе, письмо в узком серо-зелёном конверте, и сказала:

– О ком Сереженька пишет, мы никак не могли догадаться. Но это письмо, – ко мне он письмо оставил, и – вот это письмо вложено, – просит передать молодой барышне, которая у нас не бывала, передать, если она придет на панихиду или на вынос. А узнаете, пишет, по тому, что она в трауре будет и, может быть, поплачет немножко. Ей, пишет, и отдайте. Если же она не придет, сожгите, пишет, не читая. Вот я и думаю, не вам ли письмо.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
И, не колеблясь ни минуты, Нина сказала:

– Да, это мне.

Побледнела. Протянула руку за письмо, вся полная страха. Тяжелые ли упреки бросит ей из-за таинственной грани её милый? Слова ли нужной любви и утешения?

Подумала:

«А если придет она, другая?»

Шуршал конверт в дрожащих пальцах. И уже нетерпеливою рукою разорван край конверта. Быстрые мысли чередовались, пока вытаскивала письмо из темницы конверта:

«Придет – отдам. Да не придет. Злая, оставила, забыла, в страшные предсмертные его часы не томилась тоскою предчувствий. Как я. Это – мое. Но если придет, и траур наденет, и заплачет, – отдам».

И отец и мать стояли перед нею, и смотрели на её лицо, когда она читала. Точно по лицу хотелось узнать им страшную тайну.

Читала:

«Милая, дорогая, пишу тебе в странной, может быть, несбыточной надежде, что ты все-таки придёшь, к моему гробу, заплачешь над моею могилою, хоть короткое время поносишь по мне траур. Зачем мне это? Знаю, что это – ужасная ерунда, а все-таки утешен мечтою о том, что ты придешь. И если придешь тебе отдадут это письмо. А не придешь, сожгут. Так я просил маму, а она у меня славная и не обманет, сделает, как я прошу. Ты, я верю, не огорчишь её ни одним ненужным словом. Я, видишь-ли, умираю. Всё одно к одному подошло. Не вини себя, милая. В нашей разлуке я сам виноват, я один. И мне пенять не на кого, а только это было так, словно из ткани моей жизни кто-то выдернул какую-то связующую нить, и всё стало рассыпаться. По внешности я остался таким же, и шёл заодно с товарищами, вообще не вешал носа. Даже взялся за дело, которое раньше, может быть, сделал бы с размахом. А теперь оно меня окончательно раздавило... Убить всегда трудно, – но я знаю, что... Да что говорить! Взяться, и не могу. Предпочитаю убить самого себя. Не потому, чтобы старые прописи из морали, ну, там святость человеческой жизни, – да нет, может быть, и это. Так, страшно и темно. Весь изнемог. Я – человек конченный (впрочем, эту фразу я слизнул у кого-то, ну да сойдет). Тебе хотел бы сказать что-нибудь очень светлое и спокойное. Ты, может быть, улыбнешься сквозь слезы, но пусть, – я все-таки тебя, Киска, очень люблю. Будь счастлива, обо мне вспоминай не часто и без досады. А если бы ты вернулась, – но, впрочем, что вам, живущим, заветы из-за гроба? Чепуха, не правда ли? И все-таки, мой друг, моя милая, тот, кто увидел свет и отвернулся от него, порядочная дрянь.

Прощай. Твой Сергей.»

Нина вложила письмо в конверт. Хотелось уйти, остаться одной, перечитывать, думать и плакать. И уже хотела уходить. Но чьи-то просящие взоры удерживали ее.

– Что вам пишет Сережа? – спросила мать.

Нина молчала. Не знала, что сказать. И старая продолжала:

– Поймите ужас нашего положения, – ведь мы совершенно не знаем, из-за чего Сережа... из-за чего, – ведь это ужасно! Хотя бы что-нибудь знать, хотя бы что-нибудь!

Нина думала:

«Что же я могу сказать? А если она придет? и придется ей отдать письмо? Лучше пусть она скажет».

Улыбалась и плакала. Сказала решительно:

– Простите, я очень понимаю, но сейчас я должна молчать. Я не могу вам сказать, ничего не могу.

– Сударыня, – начал молчавший до этого времени отец, и звук его голоса был странно резок и скрипуч, – ведь мы могли бы и не отдавать вам письма. В таком положении... Мы имели бы право сами его распечатать. А вы скрываете...

Не кончил. Странно всхлипнул. Отвернулся. Нина потупилась, и тихо сказала:

– Да, вы имели возможность прочитать это письмо, – но вы этого не сделали.

– Нет, конечно. – говорила мать, – кто же говорит! Конечно, мы бы не стали читать чужого письма. Но наше... наше горе... умоляю вас, пожалейте старую женщину.

– Ради Бога, – вскрикнула Нина, – подождите, подождите до завтра. Клянусь вам, теперь я не могу. Я скажу вам завтра. Завтра, когда его... когда Сережу... ради Бога.

Плакали обе, обнимая одна другую. И вдруг мать оттолкнула Нину.

– Не даст вам Бог счастья, если он из-за вас! – плачущим воплем слабо вскрикнула она, и бросилась рыдая из комнаты.

Отец быстро ушел за нею. Нина осталась одна.

День проходил тупо и вяло, в смятении мыслей и мечтаний. Перечитывала письмо милого. Думала боязливо:

«А если придет та, другая, злая?»

Горько было думать, что придется отдать ей милые странички, исписанные мелким, торопливым, четким почерком. И утешая себя, опять думала:

«Да нет, не придет.»

Нетерпеливо ждала вечера, – идти опять на панихиду, в гроб милому положить белую розу, у гроба его оставить белый венок опечаленной невесты. И узнать, пришла ли злая разлучница.

Докучные, лишние, пламенные влачили минуты змеино-солнечного дня.

Поели обеда Нина сказала Наташе:

– Последняя отрада – получить письмо от милого. Я его получила.

Наташа с удивлением смотрела на узкий зеленый конверт. Нина в первый раз заметила на конверте надпись. Прочла:

«Опечаленной невесте.»

Та, другая, не приходила. Её не было ни на вечерней панихиде, где белый лег венок на ступени черного катафалка, и у черных волос милого упала белая роза, подарок невесты. Её не было и на выносе, и на отпевании.

И красота невестинной печали ничем не была нарушена.

По знойным утренним улицам равнодушно-шумного города, за гробом, по пыльной мостовой шла Нина с родителями своего жениха. Кто-то из его родных, элегантно одетый и красивый господин с седеющими усами и прямым станом отставного офицера, вел Нину под руку.

Красота её печали влеклась по безобразию пыльных, знойных улиц, под неистовым пыланием древнего Змия, среди минутно тронутых и крестящихся прохожих, – роковая красота печали влеклась на сером и злом безучастии Айсы.

Устала, но не хотела сесть в карету. И смертельно устала. Усталость венчала красоту её печали, и милая томность её лица была еще более трогательна этим чужим людям.

Скорбный долг был обряд, потому что не жалели денег, и в красивой церкви хорошо

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
пел отличный хор певчих. Обряд, утешающий слабых, – но какое утешение мог дать Нине, бедной невесте жениха, только из-за гроба сказавшего ей слова любви, но и слова укора? И думала она:

«Куда же я должна вернуться, чтобы утешить его? Чтобы не остаться, по его откровенно милому слову, порядочною дрянью, малодушно отвернувшейся от света?»

И казалось ей, что она знает, куда пойдет, и чем его утешить.

Могила. Брошены последние горсти земли.

Рыдали мать и невеста, – некрасивая, старая, родная ему, с покрасневшим носом, сгибалась, сбивая на бок шляпу, – и молодая, бледная, заплаканная девушка, чужая ему при жизни и теперь единственно близкая ему.

И они остались одни над свежеею могилою, – одна не берегла сына, и сердце его было ей темно, и помыслы непонятны и чужды, – и другая; на неё ни разу не глянули его милые очи, но ей открылось его сердце, – слабое, изнемогшее от непосильного бремени земное сердце человека, который хотел великого подвига и не мог его совершить.

«Милый, – шептала она, – я знаю путь, которым надо идти, чтобы с тобою быть, чтобы тебя утешить. Ты не мог, ты ослабел от печали, тебе темно и холодно в могиле, но ничего, не бойся, я сделаю всё, что было твоим делом. И если на твоём пути есть страдания, они будут моими».

Смотрели одна на другую. Нина думала:

«Что скажу ей? Чем ее утешу?»

Сказала ей тихо:

– Вы сказали вчера, что Бог не даст мне счастья, если он умер из-за меня. Видит Бог, что я в этом нисколько не виновата. Но на что же мне счастье, если он, милый мой, в могиле? Я не умела быть с ним вместе, когда он был жив, но поверьте что я всегда буду верна его памяти. И то, что он мне завещал, исполню, – и его любовь будет моею любовью, его друзья моими друзьями, его ненависть моею ненавистью, и то, отчего погиб он, понесу я.

Прятки

I

В детской у Лелечки было светло, красиво и весело. Звонки Лелечкин голос радовал маму. Лелечка – прелестный ребенок. Ни у кого нет другого такого ребенка, и никогда не было, и не может быть. Серафима Александровна, Лелечкина мама, уверена в этом. Глаза у Лелечки черные, большие, щеки румяные, глаза созданы для поцелуев и для смеха. Но не в этом самая большая, самая милая для Серафимы Александровны Лелечкина прелесть.

Лелечка у мамы одна. Поэтому-то каждое Лелечкино движение чарует маму. Что за блаженство, – держать Лелечку у себя на коленях, ласкать ее, чувствовать под руками маленькую девочку, бойкую и веселую, как птичка!

Сказать по правде, только в детской и весело, Серафиме Александровне. С мужем ей холодно.

Может быть, это потому, что он и сам любит холод, – холодную воду, холодный воздух. Он – всегда свежий и холодный, с холодной улыбкой, – и где он проходит, там словно пробегают в воздухе холодные струйки.

Неслетьевы, Сергей Модестович и Серафима Александровна, поженились не по любви, и не по расчету, а потому, что уже так принято. Молодой человек, – тридцати пяти лет, – и молодая девица, – двадцати шести, – оба одного общества и хорошо воспитанные, сошлись: ему следовало жениться, ей настала пора выйти замуж.

Серафиме Александровне казалось даже, что она влюблена в жениха, и это очень веселило. Он был изящный, ловкий, сохранял всегда значительное выражение в умных серых глазах, и с безукоризненною нежностью выполнял жениховские обязанности.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Сергей Модестович не чувствовал себя влюбленным, и ему не было особенно весело, а только приятно, – как, впрочем, и все в его ровной, умеренной жизни.

Невеста была красива, не слишком, впрочем, – высокая, черноглазая, черноволосая девица, державшаяся несколько застенчиво, но с большим тактом. За приданым он не гнался, – но ему доставляло удовольствие знать, что у жены есть что-то. Он имел связи, и у жены были хорошие, влиятельные родственники. Когда-нибудь, при случае, это могло пригодиться. Всегда корректный и тактичный, Неслетьев двигался по службе не так скоро, чтоб ему завидовали, но и не так медленно, чтобы завидовать другим, – и в меру и в пору.

После того, как они сочетались, Сергей Модестович ни разу, во внешнем и показном своем поведении, не дал жене повода обвинить себя. Потом, уже когда Серафима Александровна была в интересном положении, у Сергея Модестовича завязались легкие, непрочные связи на стороне. Серафима Александровна узнала об этом, – и, к удивлению своему, не особенно огорчилась; она ждала ребенка с тревожным, поглощающим ее чувством.

Родилась девочка; Серафима Александровна предалась заботам о ней. Вначале она с восторгом сообщала мужу радующие ее подробности из Лелиной жизни. Но скоро она заметила, что Сергей Модестович выслушивал ее без всякого живого участия, единственно только по светской любезной привычке. Серафима Александровна стала все больше отдаляться от него. Она любила девочку с неудовлетворенною страстностью, как другие женщины, ошибочно устроившие свою судьбу, изменяют мужьям для случайных молодых людей.

– Мамочка, поиграем в прятки, – кричала Лелечка, выговаривая р, как л, так что выходило вместо «в прятки» – «в плятки».

Эта милая неумелость говорить заставляла Серафиму Александровну нежно и растроганно улыбаться. Лелечка побежала, топоча по коврам маленькими, пухлыми ножками, и спряталась за занавесками у своей кровати.

– Тютю, мамочка! – закричала она смеющимся, нежным голоском, выглядывая одним черным, плутовским глазком.

– Где моя деточка? – спрашивала мама, притворяясь, что ищет Лелечку и не видит её.

А Лелечка заливалась звонким смехом в своем убежище. Потом она высунулась побольше, – и мама как будто сейчас только увидела ее, и взяла ее за плечики, радостно восклицая:

– А, вот она, моя Лелечка!

Долго и звонко смеялась Лелечка, прикинув голову к маминым коленям и барахтаясь в маминых белых руках, – возбужденно и страстно горели мамины черные глаза.

– Теперь ты, мамочка, прячься, – сказала Лелечка, уставши смеяться.

Мама пошла прятаться; Лелечка отвернулась, – будто бы не смотрит, – а сама исподтишка наблюдала, куда пойдет мамочка. Мама спряталась за шкапом, и крикнула:

– Тютю, деточка!

Лелечка побежала вокруг комнаты, заглядывая во все уголки, притворяясь, как давеча мама, что ищет, – хоть сама хорошо знала, где стоит мамочка.

– Где моя мамочка? – спрашивала Лелечка. – Здесь нет – и здесь нет, – говорила она, пробегая к другому уголку.

Мама стояла, притаив дыхание, с прислоненною к стене головой, с примятой прической. Блаженно-тревожная улыбка играла на её румяных губах.

Нянька Федосья, глуповатая на вид, но добрая, красивая женщина, ухмылялась, смотрела на барыню с тем обычным у неё выражением, как будто она согласна не

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
спорить против барских затей, и думала про себя:

«И мать-то, ровно дите малое, – ишь как разгоралась».

Лелечка приближалась к мамину углу, – а мама все больше волновалась, входя в интерес игры; мамино сердце усиленно и коротко билось, и она теснее прижималась к стене, и приминала свои волосы. Лелечка заглянула в мамин угол, и взвизгнула от радости.

– Насла! – закричала она громко и радостно, нечисто выговаривая звук ш и опять веселя этим маму.

Она потащила маму за руки на середину комнаты, – обе радовались и смеялись, – и опять Лелечка упала головою к маминим коленям, и лепетала, лепетала без конца милые словечки, так славно и неловко их выговаривая.

Сергей Модестович подходил в это время к детской. Сквозь неплотно затворенные двери он услышал смех, радостные восклицания, шум от возни. Холодно, но любезно улыбаясь, вошел он в детскую, свежий, прямой, одетый безукоризненно, распространяя вокруг себя веяние чистоты, свежести и холода. Он вошел среди оживленной игры, – и всех смутил своим ясным холодом. Даже Федосья застыдилась, не то за барыню, не то за себя самое. Серафима Александровна сразу сделалась спокойной и, по-видимому, холодной, – и это её настроение сообщилось девочке, которая перестала смеяться, и молча и внимательно смотрела на отца.

Сергей Модестович беглым взглядом окинул комнату. Все здесь ему приятно: обстановка красивая, – Серафима Александровна заботится о том, чтобы девочку, с самого нежного возраста, окружало только прекрасное. Одета Серафима Александровна нарядно и к лицу, – это она всегда делает для Лелечки с тем же расчетом. Одно только Сергей Модестович не мог одобрить, – того, что жена почти постоянно в детской.

– Мне надо было сказать... Я так и знал, что найду тебя здесь, – сказал он с улыбкой насмешливой и снисходительной.

Они вышли вместе из датской. Пропустив Серафиму Александровну в дверь кабинета, Сергей Модестович сказал равнодушно, как бы вскользь и не придавая значения своим словам:

– Ты не находишь, что девочке полезно бы иногда обойтись без твоего общества? Понимаешь, чтобы ребенок почувствовал свою отдельную личность, – пояснил он в ответ на удивленный взгляд Серафимы Александровны.

– Она еще так мала, – сказала Серафима Александровна.

– Впрочем, это так, только мое скромное мнение. Я не настаиваю, – там ваше царство.

– Я подумаю, – отвечала жена, улыбаясь, как и он, холодно и любезно.

И они заговорили о другом.

II

Вечером нянька Федосья рассказывала в кухне молчаливой горничной Дарье и любящей рассуждать старухе кухарке Агафье о том, что маленькая барышня уж так-то полюбила играть с барыней в прятки, – спрячет личико, и кричит: тютю!

– И сама-то барыня ровно дите малое, – говорила Федосья, ухмыляясь.

Агафья слушала, неодобрительно покачивая головою, и лицо её сделалось строгим и укоряющим.

– Что барыня, известно, ей ни к чему, – сказала она, – а вот что барышня-то все прячется, не хорошо это.

– А что? – с любопытством спросила Федосья.

Её доброе румяное лицо от этого выражения любопытства сделалось похожим на лицо

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
деревянной, грубо раскрашенной куклы.

– Да нехорошо, – повторила с убеждением Агафья, – да и как еще нехорошо!

– Ну? – переспросила Федосья, усиливал на своем лице смешное выражение любопытства.

– Прячется, прячется, да и спрячется, – таинственным шопотом сказала Агафья, опасливо поглядывая на дверь.

– Да что ты говоришь? – с испугом воскликнула Федосья.

– Верно говорю, вот попомни мое слово, – уверенно и так же таинственно сказала Агафья, – уж это самая верная примета.

Но эту приметку старуха придумала сама, внезапно, и теперь, очевидно, весьма гордилась ею.

III

Лелечка спала, а Серафима Александровна сидела у себя, и радостно и нежно мечтала о Лелечке. Лелечка в её мечтах была милой девочкой, потом милой девушкой, потом опять прелестной девочкой, и все, без конца оставалась маминой Лелечкой.

Серафима Александровна и не заметила, как пришла Федосья и остановилась перед нею. У Федосьи было озабоченное, испуганное лицо.

– Барыня, а барыня, – позвала она тихонько, вздрагивающим, взволнованным голосом.

Серафима Александровна очнулась, Федосьино лицо обеспокоило ее.

– Что тебе, Федосья? – спросила она тревожно. – С Лелечкой что?

Она быстро встала с кресла.

– Не, барыня, – отвечала Федосья, махая руками, чтобы барыня успокоилась и села. – Лелечка спит, Господь с ней. А только я, знаете что, я вам скажу, – Лелечка-то у нас все прячется, – ведь нехорошо это.

Федосья смотрела на барыню неподвижными, округлившимися от страха глазами.

– Чем не хорошо? – с досадой спросила Серафима Александровна, невольно подчиняясь неопределенному беспокойству.

– Да так уж, не хорошо, не гоже, – сказала Федосья, и лицо её выражало непоколебимую уверенность.

– Говори, пожалуйста, толком, – сухо приказала Серафима Александровна, – я ничего не понимаю.

– Да так, барыня, примета такая есть, – вдруг застыдившись, объяснила Федосья.

– Глупости, – сказала Серафима Александровна. Ей не хотелось больше слушать, что это за примета, что она предвещает. Но стало как то не то, чтобы страшно, а жутко, – и оскорбительно, что какая-нибудь, очевидно, нелепая выдумка разбивает милые мечты и томительно тревожит.

– Что-ж, известно, господа приметам не верят, а только нехорошая примета, – заунывным голосом говорила Федосья, – прячется барышня, прячется...

Вдруг она заплакала, всхлипывая в голос.

– Прячется, прячется, да и спрячется, ангельская душенька, в сырую могилку, – приговаривала она, вытирая слезы передником и сморкаясь.

– Кто это тебе наговорил? – строгим и упавшим голосом спросила Серафима Александровна.

– Агафья говорить, барыня, – отвечала Федосья. – Уж она знает.

– Знает! – досадливо сказала Серафима Александровна, видимо, желая как-нибудь оградиться от этого внезапного беспокойства. – Что за глупости! Пожалуйста, на будущее время не говори мне такого вздора. Иди.

Федосья, с обиженным и унылым лицом, вышла.

«Что за вздор! разве Лелечка может умереть», – думала Серафима Александровна, стараясь разумными рассуждениями победить ощущение холода и ужаса, охватившее ее при мысли о возможной Лелечкиной смерти.

Серафима Александровна думала, что эти женщины невежественны, и потому верят приметам. Она же ясно понимала, что между детской забавой, которую может полюбить всякий ребенок, и продолжительностью его жизни не может быть никакого соответствия. Она с особенным старанием старалась в этот вечер заняться чем-нибудь посторонним, – но мысли её невольно обращались к тому, что Лелечка любит прятаться.

Еще когда Лелечка была совсем маленькая и недавно только научилась узнавать маму и няню, случалось, что она вдруг сделает, взглянув на маму, плутовскую гримаску, засмеется и спрячется за плечо к няньке, у которой сидит на руках. Потом выглянет, и смотрит лукаво.

В последнее время Федосья опять приучила Лелечку прятаться, в те немногие минуты, когда мама уходила из детской; потом мама, увидев, как прелестна Лелечка, когда она прячется, сама стала играть с дочкою в прятки.

IV

На другое утро, поглощенная радостными заботами о Лелечке, Серафима Александровна забыла о вчерашних Федосьиных словах.

Но когда она вышла из датской заказать обед и потом вернулась, а Лелечка спряталась под стол и крикнула оттуда – Тютю! – то Серафиме Александровне стало вдруг страшно. Хотя она сейчас же упрекнула себя за этот неосновательный, суеверный страх, все – таки она уже не могла позабавить Лелечку игрою в прятки, и постаралась отвлечь Лелечкино внимание на что-нибудь другое.

Лелечка – ласковая, послушная девочка. Она охотно переходит к тому, чего хочет мама. Но так как она уже привыкла прятаться от мамочки и покрикивать – тютю! – из какого-нибудь убежища, то и сегодня она часто возвращалась к этому.

Серафима Александровна усиленно старалась занимать Лелечку. Не так это легко! Особенно, когда беспрестанно мешают тревожный, угрожающая мысли.

«Отчего Лелечка все вспоминает свое тютю? Как это ей не надоест одно и то же, – закрывать глаза и прятать лицо? Может быть, – думала Серафима Александровна, – у Лелечки нет такого сильного влечения к миру, как у других детей, который неотступно глядят на вещи. Но если так, то не признак ли это органической слабости? Не зародыш ли это бессознательной неохоты жить?».

Предчувствия томили Серафиму Александровну. Ей стыдно было, перед Федосьей и перед собой, бросить игру в прятки с Лелечкой. Но эта игра становилась для неё мучительной; тем более мучительной, что все-таки хотелось поиграть ею, и все более тянуло прятаться от Лелечки или отыскивать спрятавшуюся Лелечку. Серафима Александровна даже сама иногда затевала эту игру, – с тяжелым сердцем, страдая, как от какого-нибудь дурного дела о котором знаешь, что не надо его делать, и все же делаешь.

Тяжелый день выдался у Серафимы Александровны.

V

Лелечка собиралась спать. Её глазки слипались от усталости, когда она забралась на кровать, огороженную сутками. Мама прикрыла ее голубым одеяльцем. Лелечка выпростала из-под одеяльца белые, нежные ручки, и протянула их, чтобы обнять мамочку. Мама наклонилась. Лелечка, с нежным выражением на сонном лице, поцеловала маму, и опустила голову на подушки. Её руки спрятались под одеялом, и

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Лелечка прошептала:

– Ручки тютю.

Мамино сердце замерло, – Лелечка лежала такая маленькая, слабая, тихая. Лелечка слабо улыбнулась, закрыла глаза, и тихонько сказала:

– Глазки тютю.

И потом еще тише:

– Лелечка тютю.

С этими словами она заснула, прижимаясь щекою к подушке, закрытая одеяльцем, маленькая, слабая. Мама смотрела на нее тоскующими глазами.

И долго стояла Серафима Александровна над Лелечкиной кроваткой, с нежностью и опасением глядя на Лелечку.

«Я – мать: неужели я не уберегу?» – думала она, воображая разные напасти, которые могут угрожать Лелечке.

Долго молилась она в эту ночь, – но тоска её не облегчалась молитвою.

VI

Прошло несколько дней. Лелечка простудилась. Ночью у неё сделался жар. Когда разбуженная Федосьею Серафима Александровна пришла к Лелечке и увидела ее, жаркую, беспокойную, страдающую, она вспомнила прежде всего зловещую примету, – и безнадежное в первую минуту отчаяние овладело ею.

Позвали врача, сделали все, что делают в таких случаях, – но неизбежное совершилось. Серафима Александровна старалась утешать себя надеждой на то, что Лелечка выздоровеет и будет опять улыбаться и играть, – но это казалось ей таким несбыточным счастьем! А Лелечка слабела с каждым часом.

Все притворялись спокойными, чтобы не пугать Серафиму Александровну, – но их неискренние лица наводили на нее тоску.

Смертную тоску наводили на нее Федосьины всхлипывания и причитания:

– Пряталась, пряталась Лелечка!

Но мысли Серафимы Александровны были смутны, и она плохо понимала, что делается.

Лелечка вся горела, и поминутно забывалась, и бредила. Но когда она приходила в сознание, она выносила свою боль и свое томление с нужною кротостью, и слабо улыбалась мамочке, чтоб мамочка не думала, что ей очень больно. Томительные, как кошмар, прошли три дня. Лелечка совсем ослабела. Но она не понимала, что умирает.

Она взглянула на мать помутившимися глазами, и залепетала еле слышным, хриплым голосом:

– Тютю, мамочка! Сделай тютю, мамочка!

Серафима Александровна спрятала лицо за занавесками Лелечкиной кровати. Какая тоска!

– Мамочка! – еле слышно позвала Лелечка.

Мама наклонилась к Лелечке, – и Лелечка в последний раз увидела мутнеющими глазами мамочкино бледное, отчаянное лицо.

– Мамочка белая! – прошептала Лелечка.

Бледное мамочкино лицо померкло, и Лелечке стало темно. Она слабо схватилась руками за край одеяла, и шепнула:

– Тютю.

Что-то захрипело в её горле, Лелечка открыла и опять закрыла быстро побледневшие губы, и умерла.

В тупом отчаянии Серафима Александровна оставила Лелечку, и вышла из комнаты. Она встретила мужа.

– Лелечка умерла, – сказала она тихо, почти беззвучным голосом.

Сергей Модестович опасливо посмотрел на её бледное лицо. Его поразило странное оупение в чертах этого, прежде оживленного, красивого лица.

VII

Лелечку одели, положили в маленький гроб, и вынесли в залу. Серафима Александровна стояла у гроба, и тупо смотрела на мертвую дочку. Сергей Модестович подошел к жене, и, утешая ее пустыми, холодными словами, старался отвести ее от гроба. Серафима Александровна улыбалась.

– Отойди, – сказала она тихо. – Лелечка играет. Она сейчас встанет.

– Сима, друг мой, не расстраивай себя, – шопотом говорил Сергей Модестович. – Надо покоряться судьбе.

– Она встанет, – упрямо повторила Серафима Александровна, остановившимися глазами глядя на мертвую девочку.

Сергей Модестович опасливо оглянулся: он боялся неприличного и смешного.

– Сима, не расстраивай себя, – опять заговорил он. – Это было бы чудо, а чудес в девятнадцатом веке не бывает.

Сказав эти слова, Сергей Модестович смутно по-чувствовал их несоответствие с тем, что совершилось. Ему стало неловко и досадно.

Он взял жену под руку и осторожно отвел от гроба. Серафима Александровна не сопротивлялась.

Её лицо казалось спокойным, и глаза были сухи. Она пошла в детскую, и стала ходить по ней, заглядывая в те места, где прежде пряталась Лелечка. Кругом всей комнаты обошла она, нагибаясь, чтобы заглянуть под стол или под кровать, и веселым голосом приговаривала:

– Где моя деточка? Где моя Лелечка?

Обойдя комнату вокруг, она снова начала свои поиски, Федосья неподвижно, с унылым лицом, сидела в углу, испуганно смотрела на барыню, потом вдруг зарыдала и завопила в голос:

– Пряталась, пряталась Лелечка, ангельская душенька!

Серафима Александровна вздрогнула, остановилась, в недоумении посмотрела на Федосью, заплакала, и тихо пошла из детской.

VIII

Сергей Модестович торопил похороны. Он понимал, что Серафима Александровна чрезмерно потрясена внезапным горем и, опасаясь за её разум, думал, что Лелечку надо поскорее похоронить, чтобы мать развлеклась и утешилась.

Утром Серафима Александровна оделась особенно тщательно, – для Лелечки. Когда она пришла в зал, между нею и Лелечкой было много людей, ходили священник и дьякон, плавал синий дым, пахло ладаном. С тупой тяжестью в голове Серафима Александровна подошла к Лелечке. Лелечка лежала тихая, бледная, и жалостливо улыбалась. Серафима Александровна положила голову щекою на край Лелечкина гроба, и шепнула:

– Тютю, деточка!

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Деточка не отвечала. Вокруг Серафимы Александровны произошло какое-то движение, суматоха, – чужие, ненужные лица наклонились к ней, кто-то поддержал ее – а Лелечку куда-то понесли.

Серафима Александровна выпрямилась, растерянно ахнула, улыбнулась, и громко сказала:

– Лелечка!

Лелечку уносили, – мать бросилась за гробом с отчаянным воплем, – её удержали. Она метнулась за дверь, через которую несли Лелечку, села там на пол и, глядя в щель, крикнула:

– Лелечка, тютю!

Потом она высунула голову из-за двери, и засмеялась.

Лелечку торопливо уносили от матери, и шествие похоже стало на бегство.

Улыбка

I

В саду дачи Семибояриновых, по случаю именин одного из сыновей, Леши, гимназиста второго класса, собралось десятка полтора мальчиков и девочек разного возраста и несколько юношей и девиц. Лешины именины для того и справляли, чтобы лишний раз собрать молодых гостей для взрослых барышень, сестер именинника.

Все были веселы и улыбались, – и взрослые, и мальчики, и девочки, которые, играя, двигались по желтому песку подметенных дорожек, – улыбался и бледный некрасивый мальчик, что сидел одиноко на скамеечке под сиренью и молча глядел на своих сверстников. Его одиночество, молчаливость и поношенная, хотя чистенькая, одежда показывали, что он из бедной семьи и стесняется этим обществом нарядных бойких детей. Лицо у него было робкое, худенькое, и грудь такая впалая, и ручонки такие тощие; так смиренно они лежали, что на него жаль было смотреть. А все-таки он улыбался, – но и улыбка его казалась жалкой: не то ему весело было смотреть на игры и на веселье, не то он боялся, чтобы не рассердить кого-нибудь своим скучным видом и плохим костюмом.

Его звали Гриша Игумнов. Отец его недавно умер; мать посылала иногда Гришу к своим богатым родственникам, где Гриша всегда чувствовал скуку и неловкость.

– Что ж ты один сидишь, – иди, побегай! – сказала ему мимоходом синеглазая барышня, Лидочка Семибояринова.

Гриша не смел не послушаться, – сердце его забилось от волнения, лицо покрылось мелкими капельками пота. Он боязливо подошел к веселым краснощеким мальчикам. Они посмотрели на него недружелюбно, как на чужого, – и Гриша сам почувствовал сейчас же, что он не такой, как они: не может говорить так смело и громко, и у него нет таких желтых башмаков и задвинутой на затылок круглой шапочки с мохнатой красной шишечкой, как у мальчугана, который стоял к нему всех ближе.

Мальчики продолжали говорить между собой по-прежнему, как будто бы здесь и не было Гриши. Гриша стоял возле них в неловкой позе, принагнул тонкие плечики, крепко держался тоненькими пальцами за узенький кушачок и робко улыбался. Он не знал, как ему теперь быть, и от смущения едва слышал, что говорили бойкие мальчики.

Они окончили разговор и вдруг разбежались. Продолжая улыбаться все так же робко и виновато, Гриша неловко пошел по песчаной дорожке и опять сел на скамейку. Ему было стыдно, что вот он подходил к мальчикам, но ни с кем из них не заговорил, и ничего из этого не вышло. Усевшись, он робко осмотрелся, – никто не обращал на него внимания, никто не смеялся над ним. Гриша успокоился.

Но вот мимо него медленно прошли, обнявшись, две девочки. Под их пристальными взорами Гриша ежился, краснел, виновато улыбался.

Когда девочки прошли, одна из них, поменьше, светловолосая, громко спросила:

– Кто этот маленький уродец?

Другая, краснощекая, чернобровая, рослая девочка засмеялась и ответила:

– Я не знаю, – надо будет у Лидочки спросить. Верно, какой-нибудь бедный родственник.

– Какой смешной, – сказала маленькая блондиночка. – Уши расставил, сидит и улыбается.

Они скрылись за кустами на повороте дорожки, и Гриша перестал слышать их голоса. Ему было обидно и становилось страшно думать, что еще долго надо здесь пробыть и неизвестно, когда мама с ним пойдет домой.

Большеглазый, тоненький гимназист с упрямым хохолком, торчавшим над его крутым лбом, заметил, что Гриша один сидит сиротой, – и он захотел чем-нибудь приласкать и утешить мальчика и подсел к нему.

– Как тебя зовут? – спросил он.

Гриша тихонько назвал свое имя.

– А меня зовут Митей, – сообщил маленький гимназист. – Что ж, ты здесь один или с кем-нибудь?

– С мамой, – шепнул Гриша.

– Отчего же ты тут один сидишь? – спросил Митя.

Гриша беспокойно задвигался и не знал, что сказать.

– Отчего ты не играешь?

– Не хочу.

Митя не дослышал и переспросил:

– Что ты говоришь?

– Мне не хочется, – сказал Гриша немного погромче.

Гимназист удивился, спрашивал:

– Не хочется? Отчего же?

Гриша опять не знал, что сказать, и растерянно улыбнулся. Митя внимательно смотрел на него. Чужие взоры всегда приводили Гришу в смущение, – он словно боялся, что в его наружности найдут что-нибудь смешное.

Митя помолчал, придумывая, что бы еще спросить.

– Ты что собираешь? – спросил он. – Какие-нибудь предметы, понимаешь, коллекцию? Мы все собираем: я – марки, Катя Покрывалова – раковины, Леша – бабочек. А ты что собираешь?

– Ничего, – ответил Гриша, краснея.

– Как же ты так? – с простодушным удивлением говорил Митя. – Ничего не собираешь? Напрасно, это очень интересно!

Грише стало стыдно, что он ничего не собирает и что это обнаружилось.

«Надо собирать что-нибудь и мне!» – подумал он, но не решился сказать этого вслух.

Митя посидел немного и ушел. Гриша почувствовал облегчение. Но ему готовилось новое испытание.

По дорожкам сада гуляла нянька Семибояриновых с их младшим сыном, годовалым

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
бутузом, на руках. Ей захотелось посидеть, и она выбрала для этого ту самую скамейку, где сидел Гриша. Ему опять стало неловко. Он глядел прямо перед собой и не решался даже отодвинуться от няньки на другой конец скамьи.

Внимание малытки скоро привлекли оттопыренные Гришины уши, и он потянулся к ним. Нянька, толстая, румяная баба, сообразила, что Гриша – безответный. Она поднесла своего бутуза к Грише, и розовый младенец ухватился пухлой ручонкой за Гришино ухо. Тот обомлел от смущения, но не решился сопротивляться. А ребенок, весело и звонко хохоча, то выпускал Гришино ухо, то опять хватался за него. Румяная нянька, забавляясь не менее младенца, повторяла:

– А вот мы его! А вот мы ему зададим.

Кто-то из мальчиков увидел и сказал другим, что маленький Жоржик развоевался с тихим мальчиком, который все сидит на скамеечке. Дети сбежались, окружили Жоржика и Гришу и шумно смеялись. Гриша старался показать, что ему ничего не больно и что ему тоже весело и забавно, что Жоржик его так хватает. Но ему становилось все труднее улыбаться и страшно хотелось заплакать. Он знал, что нельзя плакать, стыдно, и крепился.

К счастью, его скоро выручили. Синеглазая Лидочка, заслышавши необычайный смех и восклицания, пришла, увидела, в чем дело, и сказала:

– Няня, как вам не стыдно! Что вы делаете?

Ей и самой стало смешно глядеть на жалкое, сконфуженное Гришино лицо. Но, поддерживая перед нянькой и детьми свое достоинство взрослой барышни, она не засмеялась. Няня встала и сказала, посмеиваясь:

– Что ж, Жоржинька легонечко. Они сами ничего не говорят, им не больно.

– Пожалуйста, чтобы этого не было! – строго сказала Лидочка.

Жоржик, недовольный тем, что его отняли от Гриши, поднял крик. Лидочка взяла его на руки и унесла подальше, утешить. Ушла за ней и нянька. А мальчики и девочки не ушли. Они толпились перед сидевшим на скамейке Гришей, бесцеремонно оглядывали его.

– У него, может быть, приставные уши, – соображал один из мальчиков, – потому ему и не больно.

– Ты, должно быть, любишь, когда тебя держат за уши? – спрашивал другой.

– Скажите, – спросила девочка с большими синими глазами, – вас ваша мама за какое ухо чаще держит?

– Это ему так на заказ уши вытянули, в мастерской, – кричал веселый мальчуган, звонко хохоча.

– Нет, – поправил другой, – он так и родился. Когда маленький был, его не за руку водили, а за ухо.

Гриша поглядывал на своих мучителей, как загнанный зверек, напряженно улыбался и вдруг, совсем неожиданно для веселой детворы, заплакал. Частые мелкие слезы закапали на его курточку.

Дети сразу притихли. Им стало неловко. Они сконфуженно переглядывались и молча смотрели на то, как Гриша плакал, утирая лицо тоненькими руками и, очевидно, стыдясь своих слез.

– Туда же, обижаться, – сердито сказала русоволосая красавица Катя, – что ему сделали? Уродец!

– Вовсе он не урод, ты сама урод, – заступился Митя.

– Терпеть не могу, когда говорят грубости, – сказала Катя, досадливо краснея.

Маленькая смуглая девочка в красной юбочке смотрела долго на Гришу, хмуря брови,

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
очевидно, размышляя о чем-то. Потом она обвела других детей недоумевающим взглядом и тихо спросила:

– Так зачем же он улыбался?

II

Обновки у Гриши бывали редко, – делать их часто средств не хватало у матери, и потому каждая обновка была ему в большую радость. Наступила осень, стало холодно, – справила Грише мать пальто, шапку, рукавицы. Больше всего порадовали Гришу рукавицы.

В праздник после обедни он надел все свои обновки и отправился гулять. Он любил гулять по улицам, и его пускали одного: матери было некогда ходить за ним. Теперь она с гордостью смотрела из окна, когда Гриша степенно проходил по двору. Вспоминая своих зажиточных родственников, которые много обещали, но мало делали для нее, она думала:

«Вот, и сама справила, слава Богу, обошлась без них».

Стоял холодный, ясный день; солнце светило не ярко; по воде городских каналов плыли первые тонкие льдины. Гриша ходил по улицам, радуясь и этому бодрому холоду, и своим обновкам, и наивным своим мечтам, – он всегда принимался мечтать, как только оставался один, и мечтал всегда о подвигах, о славе, о блестящей, о счастливой жизни в роскошных чертогах, обо всем, что не похоже на скучную действительность.

Когда Гриша стоял на набережной Мойки и сквозь чугунную решетку смотрел на тонкое сало, плывшее по течению, к нему подошел уличный мальчишка в потасканной одежке и с покрасневшими от холода руками. Он заговорил с Гришей. Гриша его не боялся, даже пожалел, что у него озябли руки. Новый знакомец сообщил, что его зовут Мишкой, а фамилия у него Бабушкин, потому что он с матерью живет у бабушки.

– Так как же, – спросил Гриша, – а у твоей матери какая фамилия?

– У матери? – переспросил Мишка, ухмыляясь. – А у нее фамилия Матушкина, потому что бабушка ей не бабушка, а матушка.

– Вот как! – с удивлением сказал Гриша. – А вот у меня с мамой одна фамилия: мы – Игумновы.

– Так это потому, – живо объяснил Мишка, – что твой дедушка был игумном.

– Нет, – сказал Гриша, – мой дедушка был полковником.

– Ну, все равно, дедушкин отец или кто-нибудь был игумном, вот вы все и пошли Игумновы.

Гриша не знал, кто был его прадед, и потому замолчал. Мишка все поглядывал на его рукавицы.

– Рукавицы-то у тебя знатные, – сказал он.

– Новые, – объяснил Гриша, радостно улыбаясь, – в первый раз надел. Видишь ты, – с прошивочкой!

– Ишь ты, какие важные! Поди, тепло тебе в них?

– Тепло.

– У меня тоже есть рукавицы, только я их дома оставил, они мне не нравятся. Я попрошу, чтобы мне купили такие же, как у тебя, а то мои мне совсем не нравятся. Они – желтые, а желтых не люблю. Дай мне надеть, я сбегаю, покажу бабушке, а то как же она купит!

Мишка просительно смотрел на Гришу, и глаза его завистливо блестели.

– А ты скоро? – спросил Гриша.

– Да, я вот тут близко живу, только за угол. Ты не бойся! Я, ей-богу, сейчас.

Гриша доверчиво снял рукавицы и отдал их Мишке.

– Я сейчас, ты стой, не уходи, – радостно крикнул тот, убегая с Гришиными рукавицами.

Он скрылся за углом, а Гриша остался ждать. Он не думал, что Мишка его может обмануть: вот сбегает домой, покажет, вернется и отдаст рукавицы. Но долго стоял он и ждал, а тот и не думал приходить.

Уже короткий осенний день вечерел; уже мать, встревоженная долгим отсутствием Гриши, отправилась искать его, – когда он наконец понял, что Мишка не вернется. Мальчик печально пошел домой и встретился с матерью.

– Гриша, да где ты пропадал? – и сердясь, и радуясь, что сын нашелся, спрашивала мать.

Гриша смущенно молчал, теребя свои красные от холода пальцы. Мать заметила, что у него нет рукавиц.

– Где твои рукавицы? – сердито спросила она, обшаривая карманы его пальто.

Гриша улыбнулся и сказал:

– Я мальчику отдал поносить, а он не принес.

III

Проходили годы за годами. Из бойких, смелых детей, что собрались на именины Леша Семибояринова, вышли ловкие, смелые люди, – и мальчишка, обманувший Гришу, нашел, конечно, свою дорогу в жизни, – а Гриша стал, разумеется, неудачником. Как в детстве, он все мечтал и в мечтах покорял царства, а на деле не умел оборонить себя от любого предприимчивого человека, который бесцеремонно отстранял его с дороги. Отношения его к женщинам были так же неудачливы, как и вся жизнь, и никогда ответное чувство не награждало его робких ухаживаний. Друзей у него не было. Одна только мать любила его.

Игумнов радовался, когда поступил на службу, на маленькое жалование, – радовался тому, что теперь мать будет жить покойно, не заботясь о куске хлеба. Но счастье его не долго продолжалось: скоро мать умерла. Гриша заскучал, упал духом. Жизнь показалась ему бесцельной. Апатия овладела им, работа валилась из рук. Он потерял место и стал сильно нуждаться.

Игумнов заложил наконец и последнее материно колечко и, выходя из ломбарда, улыбался, – чтоб не заплакать от жалости к себе.

Приходилось наведываться к разным людям, просить работы или места. Но Игумнов не умел просить: застенчивый, молчаливый, он испытывал в таких случаях непобедимое смущение и не мог настаивать на своих просьбах. Уже на лестнице перед дверью той квартиры, у хозяина которой надо чего-нибудь просить, его охватывал ужас, сердце его томительно билось, ноги тяжелели, рука нерешительно протягивалась к звонку.

В один из самых тяжелых и голодных дней Игумнов сидел в роскошном кабинете Алексея Степановича Семибояринова, отца того Леша, именины которого были ему памяты. Накануне Игумнов послал Алексею Степановичу письмо: на бумаге все же легче просить, чем на словах. Теперь он пришел за ответом.

По суетливой, беспокойной любезности Семибояринова, сухого, малорослого старичка с коротко остриженными серебристо-седыми волосами, он догадывался, что получит отказ, чувствовал себя поэтому скверно и не мог не улыбаться какой-то искусственно-ласковой улыбкой, словно ему хотелось показать, что это ничего, что если, мол, нельзя, то и не надо, а я, мол, так, между прочим. Эта улыбка, очевидно, раздражала Семибояринова.

– Получил я ваше письмо, любезнейший, – заговорил он наконец о деле своим сухим и отчетливым голосом. – Но, милейший, теперь ничего на примете нет.

– Ничего? – пробормотал Игумнов, краснея.

– Решительно ничего, почтеннейший. Все занято. И не предвидится в ближайшем будущем. Вот к Новому году можно что-нибудь устроить для вас, милейший.

– Да хоть к Новому году, – сказал Игумнов, улыбаясь с таким видом, как будто какие-нибудь восемь месяцев для него не расчет.

– Да, тогда очень рад буду. Если бы от меня зависело, я бы вас сегодня же посадил за дело. Мне очень хочется быть вам полезным, дорогой мой!

– Благодарю вас, – сказал Игумнов.

– Но скажите мне, милейший, – участливо спросил Семибояринов, – отчего вы ушли с того вашего места?

– Не пригодился, – смущенно отвечал Игумнов.

– А, не пригодились! Ну, надеюсь, что у нас, милейший, вы пригодитесь. Вы мне дайте адрес, почтеннейший.

Семибояринов суетливо принялся отыскивать на столе бумагу. Игумнов увидел тут же, под маленьким мраморным прессом, свое вчерашнее письмо.

– У меня адрес на письме написан, – сказал он.

– Да, да, верно, – оживленно заговорил хозяин, хватая письмо. – Так я буду знать.

– У меня привычка, – сообщил Игумнов, подымаясь с места, – всегда писать в начале письма адрес.

– Европейская привычка, – похвалил хозяин.

Игумнов распрощался и, улыбаясь, вышел, гордясь своими европейскими привычками, которые, однако, не мешали чувствовать голод. Его почти радовало то, что неприятный разговор кончен. Припомнились вежливые слова, преимущественно те, в которых заключались обещания и возбуждались легкомысленные надежды. Только через несколько минут, шагая по улице, он понял, что ничего из этих обещаний не выйдет. Да и обещано-то когда-нибудь, а есть надо теперь и на квартиру без денег идти тяжело, – что скажет хозяйка? Что он ей скажет?

Игумнов замедлил шаги и повернул в другую сторону. В грустной задумчивости, бледный, голодный, проходил он по шумным столичным улицам мимо сытых, занятых своими делами людей. Улыбка исчезла с его лица. Выражение мрачного отчаяния придало некоторую значительность его маловыразительным чертам.

Он приближался к Неве. Громадный купол Исаакиевского собора торжественно горел золотом на синей небесной пустыне. В лучах склоняющегося к закату солнца широкие площади и улицы подергивались нежной, еле различимой пыльной мглой. Грохот экипажей смягчился здесь, на этих великолепных просторах. Все было неприветливо и чуждо голодному, бессильному человеку. Румяные фрукты за стеклами магазинов были так же недоступны, как если бы их охраняла крепкая стража.

В нежно-зеленеющем сквере играли веселые дети. Игумнов смотрел на них и улыбался. Несносные воспоминания о детстве томили его щемящей жалостью к себе. Он думал, что ему остается только умереть. Это страшило. Но он думал:

«Почему же не умереть? Ведь было же время, когда я не жил? Будет покой, вечное забвение».

Обрывки чужих мудрых мыслей приходили в голову и утешали его.

Игумнов вышел на набережную. Опираясь о гранит, он стоял и смотрел на тяжелые волны реки. Вот только упасть туда, и все кончено. Но страшно тонуть, – захлебываться, давиться этими тяжелыми, холодными волнами, беспомощно биться и наконец в изнеможении опуститься на дно, чтобы течение повлекло тело вниз и потом выбросило безобразный труп где-нибудь на взморье.

Игумнов вздрогнул и отвернулся от реки. Неподалеку он увидел бывшего сослуживца, Куркова. Щеголевато одетый, веселый, самодовольный, Курков медленно шел, помахивая тросточкой с фигурным набалдашником.

– А, Григорий Петрович! – воскликнул он, точно обрадованный встречей. – Гуляете? Или по делу?

– Да, гуляю, то есть, по делу, – сказал Игумнов.

– Нам, кажется, по дороге?

Они пошли вместе. Веселый говор Куркова усиливал тоску Игумнова. С внезапной решимостью, нервно передвинув плечами, он сказал:

– Николай Сергеевич, не найдется ли у вас рубля?

– Рубля? – удивился Курков. – На что вам?

Игумнов зарделся и, запинаясь, принялся объяснять:

– Да мне, видите ли... Мне не хватает именно одного рубля... Мне надо одну вещь купить... купить, знаете...

Волнение перехватило его дыхание. Он замолчал и улыбался напряженно и жалко.

«Ну, это, значит, без отдачи», – подумал Курков.

И сказал, уже не тем беспечным тоном, как раньше:

– Рад бы, но совсем нет лишних, ни гроша. Сам вчера должен был занять.

– Ну, что ж, на нет суда нет, – бормотал Игумнов, продолжая улыбаться, – как-нибудь обойдусь.

Его улыбка злила Куркова, – может быть, потому, что она была такая беспомощная и жалкая.

«Чего он улыбается? – досадливо думал Курков. – Не верит, что ли? Ну, и пусть, – у меня не казначейство!»

– Отчего вы к нам никогда не зайдете? – небрежно и сухо спросил он Игумнова, глядя куда-то в сторону.

– Все собираюсь, непременно найду, – отвечал Игумнов дрожащим голосом, – сегодня можно?

Уютная столовая Курковых представилась ему, гостеприимная хозяйка, самовар на столе, заставленном закусками.

– Сегодня? – сказал Курков тем же сухим небрежным голосом. – Нет, сегодня нас дома не будет. На днях как-нибудь, милости просим. Однако мне в этот переулочок. До свидания!

И он поспешно стал переходить через деревянную настилку набережной. Игумнов смотрел за ним улыбаясь. Медленные, несвязные мысли ползли в его голове.

Когда Курков скрылся в переулочке, Игумнов опять приблизился к гранитной ограде и, содрогаясь от холодного ужаса, мешкотно и неловко стал перелезать через нее.

Никого не было вблизи.

Белая мама

I

Приближалась Пасха. Эспер Константинович Саксаулов был в смутном, томительном настроении. Началось это, кажется, с того, что у Городищевых его спросили:

– Где вы встречаете праздник?

Саксаулов почему-то замедлил ответом.

Хозяйка, полная дама, близорукая, суетливая, сказала:

– Приходите к нам.

Саксаулову стало досадно, – не на барышню ли, которая, при словах матери, быстро глянула на него и сейчас же опять отвела глаза, продолжая разговор с молодым приват-доцентом?

В Саксаулове маменьки взрослых дочек ещё видели жениха, что его раздражало. Он считал себя старым холостяком, – а ему было всего тридцать семь лет. Он резко ответил:

– Благодарю вас. Я всегда провожу эту ночь дома.

Барышня взглянула на него, улыбнулась и спросила:

– С кем?

– Один, – с оттенком удивления в голосе ответил ей Саксаулов.

– Вы – мизантроп, – сказала госпожа Городищева, как-то кисло улыбаясь.

Саксаулов дорожил своею свободой. Порою ему казалось странным, что и он когда-то был близок к женитьбе. Теперь он обжился в своей небольшой, со строгим вкусом убранной квартире, привык к своему камердинеру, пожилому, степенному Федоту, и к его не менее степенной жене Христине, готовившей Саксаулову обед, – и убедил себя, что не женится из верности к своей первой любви. На самом же деле, сердце его холодело от равнодушия, порождённого одинокой, рассеянной жизнью.

У него было независимое состояние, отец и мать его давно умерли, близких родных не было. Он жил уверенно и спокойно, числился при каком-то ведомстве, был близко знаком со всем современным в литературе и искусстве, и эпикурейски пользовался благами жизни, – а сама жизнь казалась ему пустою, бесцельной. Если бы не одна светлая, чистая мечта, порой навещавшая его, он стал бы и совсем холоден, как многие.

II

Его первая и единственная любовь, закончившаяся до расцвета, заставляла его по вечерам иногда грустно и сладостно размечтаться. Лет пять тому назад встретился он с молодой девушкой, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Бледная, нежная, с тонким станом, голубоглазая, светлокудрая, она казалась ему почти неземным созданием, порождением воздуха и тумана, случайно и ненадолго занесённым судьбой в городской шум. Её движения были медленны; нежный, ясный голос её звучал слабо, как ропот ручья, плещущего на камни тихие струи.

Саксаулов, – случайно ли это было, или нет, – всегда видел её в белом платье. Впечатление белого сделалось в нём нераздельным с мыслью об ней. Само имя её, Тамара, всегда казалось ему белым, как снег на горных вершинах.

Он стал бывать у родителей Тамары. Не раз уже решался он сказать ей те слова, которыми связываются людские судьбы. Но она всегда уклонялась: в глазах отражались страх и тоска, она встаёт и уходит. Но что её страшило? Саксаулов читал на её лице признаки девственной любви: глаза её оживлялись, когда он входил, и лёгкий румянец разливался по её щекам.

Но вот в один, вечно памятный для него, вечер она выслушала его. Была ранняя весна. Ещё недавно вскрылись реки, и нежным зелёным пухом одевались деревья. В городской квартире Тамара и Саксаулов сидели у открытого окна над Невой. Не заботясь о том, что и как скажет, он говорил нежные, страшные ей слова. Она побледнела, как-то неопределённо и слабо улыбнулась, и встала. Её тонкая рука трепетала на резной спинке стула.

– Завтра, – тихо сказала Тамара, и вышла.

Саксаулов долго, с напряжённым ожиданием, смотрел на дверь, за которой скрылась

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Тамара. Голова у него кружилась. Ветка белой сирени бросилась ему в глаза, – он зачем-то взял её с собой, и ушёл, не простившись с хозяевами.

Ночью он не мог заснуть. Он стоял у окна, смотрел в тёмные, потом опять к утру просветлевшие, уличные дали, улыбался, и сжимал белую ветку сирени. Когда стало светло, он заметил, что пол в его комнате усеян белыми лепестками сирени. Это показалось Саксаулову смешным и наивным. На его ночные волнения пахнуло холодком. Он принял ванну, почувствовал себя почти уравновешенным, и поехал к Тамаре.

Ему сказали, что она больна, – где-то простудилась. И уже никогда больше Саксаулов не видел её: через две недели она умерла. Он не пошёл на её погребение. Её смерть оставила его почти спокойным, – и уже не мог он понять, любил ли её, или то было краткое, преходящее обаяние.

Иногда по вечерам он мечтал о ней, потом она стала забываться; и портрета её у Саксаулова не было. Только через несколько лет, в прошлом году, весной, ему напомнила Тамару ветка белой сирени в окне гастрономического магазина, грустно бесприютная среди обжорной роскоши. И с этой поры полюбил он снова вспоминать по вечерам Тамару.

Теперь, уходя от Городищевых, он робко подумал:

«Она придёт христосоваться.»

Чувство страха и одиночества так больно охватило его, что он подумал:

«Не жениться ли, чтобы не быть одному в святые, таинственные ночи?»

Валерия Михайловна, – так звали барышню Городищевых, – вспомнилась. Она не красавица, но одета всегда удивительно к лицу. К Саксаулову она, по-видимому, расположена, и вряд ли откажет ему, если он посватается.

На улице шум и толпа рассеяли его, и мысли о девице Городищевой приняли обычный иронический оттенок. И может ли он для кого-нибудь изменить памяти Тамары? Всё в мире представилось ему столь пошлым и мелким, что ему захотелось, чтобы Тамара, – и только она одна, – пришла к нему христосоваться.

«Но, – подумал он, – она опять будет смотреть с ожиданием. Белая, нежная Тамара, чего же она хочет? Её нежные губы поцелуют ли меня?»

III

Тоскливо мечтая о Тамаре, Саксаулов бродил по улицам, смотрел на лица прохожих, – и неприятны ему были грубые лица взрослых. Он припомнил, что ему не с кем будет радостно и любовно похристосоваться. Будет много поцелуев в первый день, – грубые губы, колючие бороды, винный запах.

Уж если целовать кого-нибудь, так это детей. Детские лица стали милы Саксаулову.

Он долго ходил, устал, и вошёл в церковную ограду на шумной улице. Бледный мальчик, сидевший на скамейке, испуганно глянул на Саксаулова, и тотчас же опять принялся неподвижно смотреть перед собой. Его голубые глаза были печальны и нежны, как у Тамары. Он был такой маленький, что ноги его торчали вперёд со скамейки.

Саксаулов сел рядом с ним, и с жалостливым любопытством стал его рассматривать. Было в этом одиноком мальчугане что-то радостно напоминающее и волнующее. А на взгляд это был самый обыкновенный мальчишка: отрёпанная одежда, белая меховая шапчонка на светловолосой голове, на ногах изношенные грязные сапоги.

Он долго сидел на скамейке, и вдруг встал, и тоскливо пискнул. Он побежал из ворот по улице, потом остановился, метнулся в другую сторону, и опять остановился. Видно было, что он не знает, куда идти. Он заплакал, тихо, без крика, роняя крупные слёзы. Собралась толпа. Пришёл городской. Мальчика стали расспрашивать, где он живёт.

– Глухов дом, – лепетал мальчуган, ещё не ясно, по младенчески, произнося слова.

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru
Но улицы мальчик не знал, и только повторял:

– Глухов дом.

Городовой, молодой и весёлый, подумал, и решил, что такого дома поблизости нет.

– Ну, а у кого ты живёшь? – спросил угрюмый мастеровой, – отец-то у тебя кто?

– Отца нет, – отвечал мальчик, обводя толпу заплаканными глазами.

– Отца нет, такое дело, – серьёзно сказал мастеровой, и покачал головой. – Ну, а мать кто?

– Мама есть, – сказал мальчик.

– Как же её зовут?

– Мама, – сказал мальчик, подумал и прибавил: – чёрная мама.

Кто-то в толпе засмеялся.

– Чёрная? Что ж, фамилия такая? – догадывался угрюмый мастеровой.

– Прежде белая была мама, а теперь чёрная, – рассказывал мальчик.

– Ну, брат, тебя не разберёшь, – решил городской. – Надо в участок свести. Там справятся по телефону.

Он подошёл к воротам, и позвонил. В это время, завидев городского, дворник с метлой в руках уже выходил из ворот. Городовой велел ему вести мальчика в участок. Но мальчик вдруг словно надумал что-то, и крикнул:

– Ну, пустите, сам найду!

Он, может быть, испугался дворниковой метлы, может быть, и в самом деле что-то припомнил, – только так побегал, что Саксаулов чуть не потерял его из вида. Но скоро мальчик пошёл тише. Он колесил по улицам, перебегая с одной стороны на другую, отыскивая и не находя своего дома. Саксаулов шёл за ним молча. Он не умел разговаривать с детьми.

Наконец мальчик устал. Он остановился у фонаря, прислонясь плечом к столбу. На глазах его сверкали слезинки.

– Милый мальчик, – заговорил Саксаулов, – что же ты, ещё не нашёл?

Мальчик молча посмотрел на него грустными, кроткими глазами, – и вдруг Саксаулов понял, что заставляло его так неотступно следить за мальчиком. Во взоре и в лице маленького скитальца было что-то, придававшее ему необычайное сходство с Тамарой.

– Милый, как тебя зовут? – взволнованно и нежно спросил Саксаулов.

– Лёша, – сказал мальчик.

– Что же ты, милый Лёша, живёшь с мамой?

– С мамой. Только это – чёрная мама, а прежде белая мама была.

Саксаулов догадался, что чёрная была мачеха.

– Как же это ты заблудился? – спросил он.

– А мы шли с мамой, всё шли. Она велела сидеть и ждать, а сама пошла. А мне стало страшно.

– Кто же твоя мама?

– Мама? Она – такая чёрная и сердитая.

– А чем она занимается?

Мальчик подумал.

– Кофей пьёт, – сказал он.

– Ну, а ещё что?

– Ещё с жильцами ругается, – подумав, ответил Лёша.

– А белая мама где?

– Её унесли. Положили в гроб, и унесли. И папу унесли.

Мальчик показал рукой куда-то вдаль, и заплакал.

«Что же с ним делать?» – подумал Саксаулов.

Но вдруг мальчуган опять побежал. Через несколько поворотов он пошёл потише. Саксаулов опять догнал его. Лицо мальчика изображало странную смесь радости и боязни.

– Вот Глюхов дом, – сказал он Саксаулову, показывая на пятиэтажную уродливую громадину.

В это время из ворот «Глюхова дома» показалась черноволосая, черноглазая баба в чёрном платье и чёрном платке с белыми горошинами. Мальчик боязливо сжался.

– Мама, – шепнул он.

Мачеха увидела его, и удивилась.

– Ты зачем здесь, пострелёнок! – закричала она. – Велено тебе было сидеть на скамейке. Зачем сошёл?

Кажется, она собиралась тут же прибить мальчика. Но, заметив, что на них смотрит какой-то барин, очень строгий и важный с виду, она заговорила помягче:

– Я только отошла на полчаса, а он и побежал. С ног сбилась, искавши, пострел этакий! Сердце не на месте!

Она захватила в свою широкую лапищу крохотную ручонку ребёнка, и потащила его во двор. Саксаулов заметил номер дома и название улицы, и пошёл домой.

IV

Саксаулов любил слушать рассудительные речи Федота. Вернувшись домой, он рассказал ему про Лёшу.

– Это она его нарочно, – решил Федот. – Ведь який яд – баба! Экую даль от дома отвела!

– Зачем же ей это? – спросил Саксаулов.

– Как сказать! Известно, глупая баба, – думает: заблудится мальчонка на улице, всячески, не оставят, – может, кто и возьмёт. Известно, мачеха. Что ей, нежалимое дитячко.

Саксаулову не верилось. Он сказал:

– Да ведь полиция нашла бы её!

– Известно, нашла бы, – ну, а между прочим, она, может быть, и совсем из города уедет, ищи тогда.

Саксаулов усмехнулся.

«Положительно, – подумал он, – моему бы Федоту быть судебным следователем».

Вечером, сидя перед лампой за книгой, он задремал. Пригрезилась Тамара, – нежная, белая, – пришла и села рядом. Лицо её было удивительно похоже на Лёшино лицо. Она смотрела неотступно, настоятельно, и чего-то ждала. Томительно было Саксаулову видеть её светлые, молящие глаза, и не знать, чего она хочет. Он быстро поднялся, и подошёл к тому креслу, где показалось ему, что сидит Тамара. Остановясь перед нею, он громко и страстно спросил:

– Чего же ты хочешь? Скажи.

Но её уже не было.

«Только приснилась», – грустно подумал Саксаулов.

V

На другой день, выходя с академической выставки, Саксаулов встретил Городищевых. Он рассказал барышне о Лёше.

– Бедный мальчик, – тихо сказала Валерия Михайловна, – мачеха его просто сбить с рук хочет.

– Это ещё не доказано, – ответил Саксаулов.

Ему было досадно, что все, и Федот, и барышня, так трагически смотрят на этот простой случай.

– Это очевидно, – горячо говорила Валерия Михайловна. – Отца нет, мальчик у мачехи, он её стесняет. Не сбудет добром – совсем изведёт.

– Вы слишком мрачно смотрите, – с усмешкой сказал Саксаулов.

– Вот вам бы взять его к себе, – посоветовала Валерия Михайловна.

– Мне? – с удивлением переспросил Саксаулов.

– Живёте вы один, – настойчиво продолжала Валерия Михайловна, – никого у вас нет. Сделайте доброе дело на Пасху! Хоть похристосоваться с кем будет.

– Помилуйте, Валерия Михайловна, где же мне возиться с ребёнком?

– Возьмите бонну. Сама судьба вам его посылает.

Саксаулов с удивлением и невольной нежностью смотрел на раскрасневшееся, оживлённое лицо барышни.

Когда вечером ему опять пригрезилась Тамара, ему уже казалось, что он знает её волю. И вот в тишине его комнаты словно прозвучали тихие слова:

«Сделай, как она сказала!»

Саксаулов радостно встал, и провёл рукой по дремотным глазам. Он увидел на столе ветку белой сирени, и удивился. Откуда она? Или Тамара оставила её, как знак своей воли?

И он подумал вдруг, что, женившись на барышне Городищевой и взяв к себе Лёшу, он исполнит желание Тамары. Он радостно вдыхал нежный аромат сирени.

Вдруг вспомнил он, что сам купил сегодня эту ветку. Но сейчас же подумал:

«Это ничего не значит, что сам: и в том, что захотел её купить, и в том, что теперь забыл об этом, есть указание».

VI

Наутро он отправился за Лёшей. Мальчик встретился ему в воротах, и показал свою квартиру. Лёшина чёрная мама пила кофе, и ругалась со своим красноносым жильцом. От неё вот что узнал Саксаулов о Лёше.

Мальчик остался от матери по третьему году. Отец женился на этой чёрной бабе, а

Книга разлук. Книга очарований. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru через год и сам умер. У чёрной, Ирины Ивановны, есть свой годовалый сын. Она собирается замуж. Свадьба на днях, и сейчас же после венца уедут «в провинцию». Лёша ей чужой, и совсем не нужен.

– Отдайте его мне, – предложил Саксаулов.

– Сделайте ваше одолжение, – со злобной радостью сказала Ирина Ивановна.

Потом, помолчав, прибавила:

– Только за одежду заплатите.

И вот Лёша водворился у Саксаулова. Барышня Городищева принимала участие в поисках бонны и в других подробностях в устройстве Лёши. Пришлось ей побывать и в квартире Саксаулова. В этих заботах она показала Саксаулову совсем иной. Словно ему открылась дверь в её душу. Глаза её стали лучисты и нежны, и вся она прониклась почти той же тихостью, какой веяло от Тамары.

VII

Лёшины рассказы о белой маме умилили Федота и его жену. В страстную субботу, укладывая его спать, они повесили над его изголовьем белое сахарное яичко.

– Это от белой мамы – сказала Христина, – только ты, голубчик, его не трогай! Его нельзя трогать, пока Боженька не воскреснет, и в колокола не зазвонят.

Лёша послушно улёгся. Долго смотрел он на радостное яичко, – наконец заснул.

А Саксаулов в этот вечер сидел дома один. Незадолго до полуночи непобедимая дрема опять сомкнула его глаза, – и он обрадовался, что увидит сейчас Тамару.

И вот она пришла, вся белая, радостная, принося с собой далёкие радостные звуки благовеста. Нежно улыбаясь, она склонилась над ним, и – несказанная радость! – на губах своих почувствовал Саксаулов нежное прикосновение. Нежный голос тихо сказал:

– Христос воскрес!

Не открывая глаз, Саксаулов протянул руки, и обнял нежное, тонкое тело. Это Лёша взобрался к нему на колени и христосовался.

Благовест разбудил мальчика. Он схватил белое яйцо и побежал к Саксаулову.

Саксаулов проснулся. Лёша смеялся и показывал белое яйцо.

– Белая мама прислала, – лепетал он, – а я тебе даю, а ты дай тёте Валерии.

– Хорошо, милый, так я и сделаю, – сказал Саксаулов.

Он уложил Лёшу спать, а сам поехал к Валерии Михайловне с Лёшиным белым яичком, – подарком от белой мамы, который казался ему в эти минуты Тамариным даром.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://sologubfyodor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!